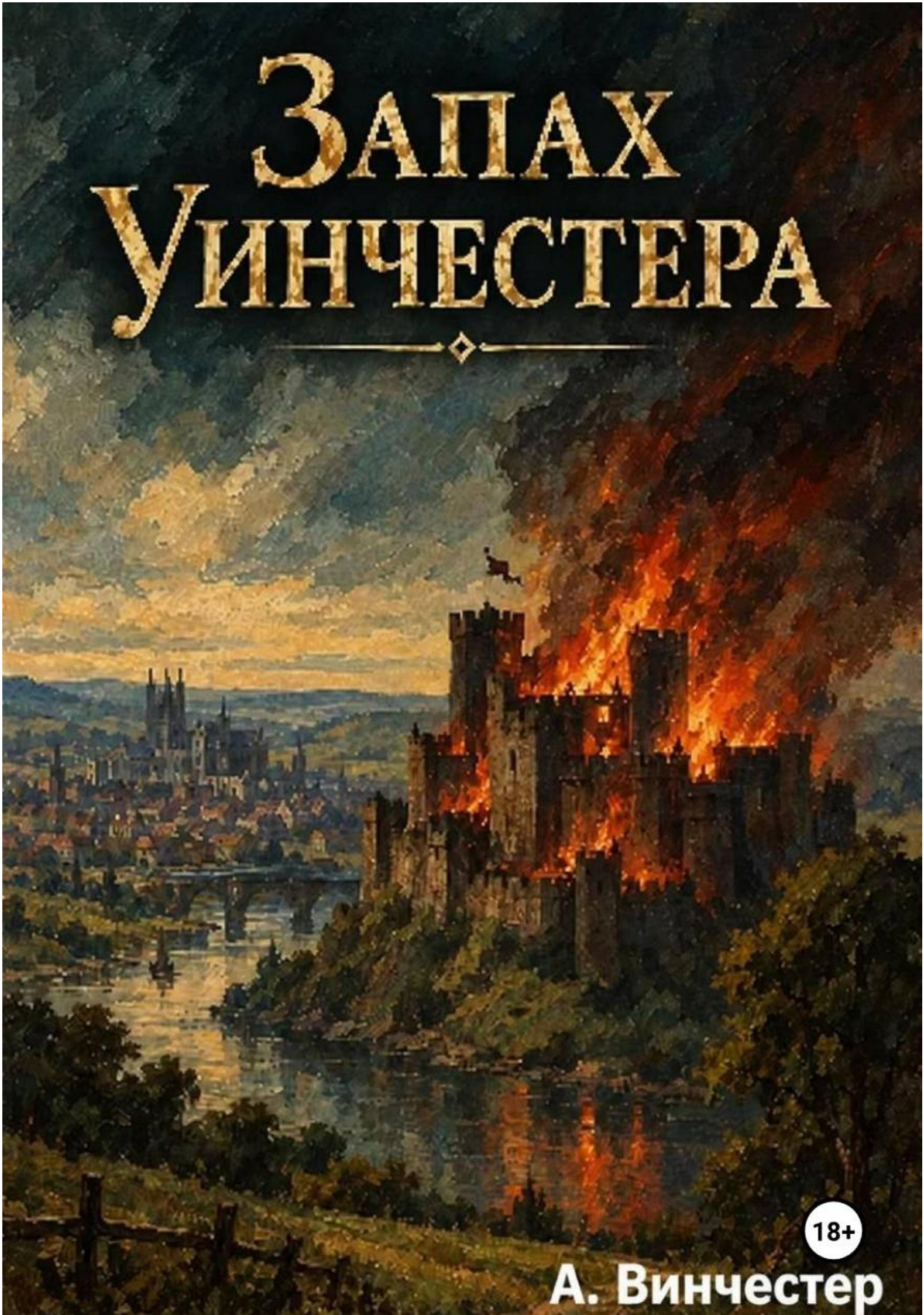
Запах Уинчестера



18+

А. Винчестер

Алексей Винчестер

Запах Уинчестера

«Автор»
2026

Винчестер А.

Запах Уинчестера / А. Винчестер — «Автор», 2026

В 891 году сын тэна поднимает переворот, убивает короля и сжигает дворец. Он не провозглашает новую веру и не обещает богатства. Он начинает строить мир, в котором сам хотел бы жить: школы, экзамены вместо происхождения, чистая вода, кодекс, который связывает не только подданных, но и короля. С этого момента Уэссекс перестаёт быть одним из многих королевств.Через сто лет священник Жан из Санса узнает, что на севере, за морем, утвердилось «королевство Антихриста». Жан отправляется туда, чтобы увидеть всё своими глазами. Он готовится к худшему.«Запах Уинчестера» — это история о том, как выглядит мир, построенный с нуля. И о том, что видит в нём человек, который пришёл его судить.

© Винчестер А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава Первая 6
Глава Вторая 38
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Запах Уинчестера

Пролог
Запах Уинчестера
Автор А. Винчестер

Глава Первая

Часть 1: рождение

I

В доме пахло кипячёной водой.

Не дымом, не потом, не ладаном — кипячёной водой. Пар поднимался от котла, который служанка таскала от очага к тазу, и оседал на стенах, на полках, на шерстяных занавесках. Вода была чистая — её набирали из колодца за домом, а не из реки, и кипятили с вечера, чтобы к утру было достаточно. Cenric настоял. Он стоял у двери, смотрел, как служанки таскают котлы, и считал: один, два, три. Три котла. Достаточно.

Elfgyth лежала на кровати — не на соломе, а на матрасе, набитом шерстью, который они привезли из Франкии. Матрас был тяжёлый, неудобный, но чистый. Она сама его выбрала. Она говорила: «Я не буду рожать на соломе, в которой живут мыши». Cenric тогда засмеялся. Теперь ему было не до смеха.

Священник стоял в углу. Его звали отец Беортвульф, и он был стар. Его сутана, когда-то чёрная, выцвела до цвета мокрой золы, а на локтях протёрлась до основы. Он читал по-латыни, быстро, бормотал себе под нос, и его никто не слушал. Но он молился не для них. Он молился так, словно от этого зависела его собственная жизнь. На его лбу выступил пот, крупными каплями скатывался по вискам и терялся в седой бороде. Он сжимал распятие так, что побелели костяшки пальцев. Отец Беортвульф искренне верил, что именно сейчас, в этой комнате, дьявол протягивает свои когти за душой роженицы, и только его слова, только его вера могут отогнать его. Ему было стыдно, что он не может сделать большего. Женщины носили воду, служанка мыла руки, а он лишь шевелил губами. Эта бесполезность гнала его молитву вперёд, делала её отчаянной, почти агрессивной. Elfgyth стонала. Cenric смотрел не на священника, а на служанок.

* * *

II

Одна из них, Haggona, — девочка лет четырнадцати, с тонкими руками и острым подбородком, — мыла руки в тазу. Она лила на них кипячёную воду из ковша, тёрла ладонь о ладонь, потом снова лила. Вода стекала в таз тёплая, почти горячая. Была только вода. Кипячёная вода. Cenric следил за каждым движением. Он знал: если руки грязные, ребёнок может умереть. Он видел это во Франкии.

У Хаггоны ныла спина. Она не спала всю ночь, таская тяжелые котлы, и её руки дрожали — не от холода, а от усталости и страха. Она знала: если допустит ошибку, её выгонят. Или хуже. Госпожа Эльфгит была доброй, но за смерть наследника доброта не спасает. Хаггона терла руки, пока кожа не начала краснеть. Она смотрела на чистую воду, стекающую в таз, и повторяла про себя правила, которые вбил ей в голову сам господин Кенрик: *«Только кипяченая вода. Только чистые руки. Не касаться ничего грязного. Не торопиться»*. Он учил её этому сам, стоя над душой, заставляя переделывать снова и снова, пока она не начала делать это автоматически. Она нервничала. Каждый крик госпожи отдавался в её животе холодным комком. Она боялась прикоснуться не так, боялась уронить, боялась, что её тонкие пальцы не удержат скользкого от крови и воды ребёнка. Она лила воду снова и снова, словно чистота могла защитить её от собственного страха.

* * *

III

Монахи говорили: грязь — удел простых, а душа чиста перед Богом, и нечего мыть тело, если дух ищет горнего. Монахи сами чесались. Cenric видел их — в школе при монастыре, в трапезной, в церкви. Они чесались постоянно. Один монах, помнится, сидел над книгой и каждые несколько секунд скрёб затылок, потом шею, потом снова затылок, и так весь день, и на пальцах у него была кровь. Cenric тогда подумал: «Если душа чиста, почему тело чешется?» Он не спросил вслух. Он был молод и вежлив. Но он запомнил.

Он запомнил и другое. Во Франкии, в городе, где они жили, он каждое утро выходил на улицу и видел одно и то же: люди чешутся. Не иногда — постоянно. Женщина у колодца скребла руку; купец за прилавком тёр плечо; ребёнок, лет шести, расчёсывал голову до крови, и мать не останавливала его, потому что и сама чесалась. Вши, блохи, клещи — они были везде, они жили в шерсти, в соломе, в волосах, в швах одежды. Cenric смотрел на это и думал: «Это не бедность. Это грязь. И её можно смыть». Он не знал, что смывать надо кипячёной водой — он не был лекарем. Но он видел: там, где мыли, чесались меньше. Там, где не мыли, чесались больше. И он решил: его дом будет чистым. Не потому, что так учили. А потому, что он видел разницу своими глазами.

Он привёз это из Франкии — не книги, не манеры, не латынь. Привычку. Привычку кипятить воду и мыть руки. Elfgyth переняла её быстро. Она тоже видела, как чешется Европа.

* * *

IV

— Ещё воды, — сказал он.

Haggona кивнула. Она не спросила зачем. Она просто взяла котёл и пошла к очагу. Cenric проводил её взглядом. Она была молода, но не глупа. Она понимала, что от неё требуется. Он выбрал её сам — не потому, что она была лучшей служанкой, а потому, что она лила воду на руки без напоминаний.

Священник закончил молитву и сказал:

— Господь услышит нас.

Cenric не ответил. Он думал: «Господь услышит, если мы сами не сделаем глупость». Он не сказал этого вслух. Он знал, что священник обидится. Но он также знал, что молитва не смывает грязь. Вода — смывает. Он узнал это не от монахов. Он узнал это, глядя, как чешется Европа.

Elfgyth закричала. Громко, пронзительно. Haggona вернулась с котлом, поставила его на пол, снова полила воду на руки. Cenric шагнул вперёд, но остановился. Он не должен мешать. Он знал это. Он стоял и смотрел, как Haggona подходит к кровати, как она говорит Elfgyth что-то тихое, успокаивающее, как она кладёт руки на живот.

— Ещё немного, — сказала Haggona. — Ещё немного, госпожа.

Роды шли тяжело. Elfgyth стиснула зубы. Она не кричала, но дышала глубоко, медленно, как учила её мать. Cenric смотрел на неё и думал: «Она сильная. Она выдержит». Он знал её двадцать лет. Они вместе уехали во Франкию, вместе учились, вместе вернулись. Она была не просто женой. Она была товарищем. Он не мог потерять её.

* * *

V

Прошло время. Свечи оплыли. Воздух в комнате стал густым, тяжелым от пота и пара. Elfgyth начала стонать чаще, отрывисто, на выдохе. Haggona стояла у изножья кровати, наклонившись. Её тонкие руки были в крови — темной и алой одновременно. Матрас, набитый шерстью, который Эльфгит так берегла, пропитался влагой. Хаггона видела, как из неё выходит голова ребенка. Волосы слиплись, лицо было сморщено и синевато.

— Тужьтесь, госпожа, — прошептала Хаггона, и её голос дрогнул. — Сильнее. Я вижу его.

Эльфгит выгнулась дугой. Крик застрял у нее в горле, превратившись в хрип. Cenric сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Он хотел броситься к ней, но правила, которые он сам установил, держали его на месте. Хаггона подхватила головку, поддерживая её ладонями, словно это было самое хрупкое, что она держала в жизни.

— Ещё раз, — скомандовала она, и в этот момент в ее голосе прорезалась не девичья уверенность.

Плечи. Самое трудное. Хаггона потянула на себя, аккуратно поворачивая ребенка. Эльфгит вскрикнула — резко, по-животному, — и тело младенца скользнуло наружу, в руки Хаггоны, вместе с потоком теплой, густой крови. Он был скользкий, покрытый белой смазкой и кровью, и на секунду Хаггоне показалось, что он выскользнет. Она прижала его к себе, к своему фартуку.

Тишина. Оглушительная.

Ребенок не дышал. Он лежал неподвижно, синеватый и безмолвный. Cenric сделал шаг вперед, его лицо побелело. Священник за спиной забормотал громче.

Хаггона не растерялась. Господин Кенрик говорил ей, что бывает и так. Она быстро перевернула младенца лицом вниз, поддерживая одной рукой за грудь и голову. Очистила пальцем рот от слизи. И резко, но не слишком сильно, шлепнула его по спине.

Ничего.

Она ударила снова. Чуть сильнее.

Ребенок дернулся. Его крошечная грудь расширилась, и из горла вырвался звук — тонкий, хриплый, надрывный. Крик. Первый вдох. Cenric выдохнул. Он не знал, что не дышал.

* * *

VI

— Мальчик, — сказала Haggona. Голос у неё сорвался. Она вдруг почувствовала, как дрожат колени. — Здоровый.

Она обрезала пуповину — чистыми ножницами, прокипяченными в воде, как велел Кенрик, — перевязала её чистой ниткой и обмыла ребёнка тёплой водой из котла. Вода в тазу моментально стала розовой. Cenric смотрел на неё и думал: «Она делает всё правильно. Она молодец». Он запомнил это. Он запомнил, что Haggona сделала всё правильно.

Elfgyth лежала на подушках, бледная, мокрая, но живая. Она улыбалась. Cenric подошёл к ней, взял за руку.

— Мальчик, — сказал он. — У нас мальчик.

— Я знаю, — сказала она. — Я слышала.

Она посмотрела на ребёнка, которого Haggona держала на руках. Ребёнок был красный, сморщенный, с закрытыми глазами. Он не был красивым. Но он был живым.

— Как назовём? — спросила Elfgyth.

Cenric помолчал. Он знал ответ. Он знал его с того момента, как они узнали, что будет ребёнок. Он думал об этом каждый день, каждую ночь, когда смотрел на огонь в очаге. Он думал о короле. О том, кто дал ему звание тэна. О том, кто поверил в него, когда другие не верили. О том, кто сказал: «Ты не просто сын кузнеца. Ты — тэн. Ты будешь управлять землёй и людьми. Ты будешь судить и решать. Ты будешь отвечать за них». Cenric помнил этот день. Он помнил, как король положил руку ему на плечо и сказал: «Не подведи». Он не подвёл.

— Ælfredo, — сказал Cenric.

Elfgyth улыбнулась. Она не спросила почему. Она знала. Она тоже помнила.

— Ælfredo, — повторила она. — Хорошее имя.

Haggona подошла и положила ребёнка на грудь Elfgith. Ребёнок заворочался, потянулся, нашёл грудь. Elfgyth поморщилась, но не отстранилась. Она смотрела на сына и улыбалась. Cenric смотрел на них обоих и думал: «Теперь у нас есть сын. Теперь у нас есть наследник. Теперь у нас есть будущее».

Священник снова начал читать молитву. Cenric отвернулся. Он подошёл к окну, открыл ставни. В комнату ворвался свежий воздух — холодный, с запахом дыма. Где-то за стеной жгли стерню. Дым поднимался к небу, серый, тяжёлый. Cenric смотрел на него и думал: «Этот дым будет с ним всю жизнь. Пусть он запомнит его. Пусть он знает, откуда он пришёл».

Часть 2: Ягоды

I

В 849 году, ранней осенью, отец позвал Cenric'a во двор.

Wulfric стоял у поленницы. Он был не старый — ему было едва за сорок, — но спина уже согнулась от работы, а руки были в мозолях, которые не сходили даже зимой. Он посмотрел на сына и сказал:

— Дров мало. Зима будет злая. Пойдёшь в лес.

— Когда? — спросил Cenric.

— Сейчас. — Wulfric кивнул на топор, который стоял у стены. — Возьми топор. И верёвку. Нужно два воза. Меньше не возвращайся.

Мать вышла из дома. Она вытирала руки о фартук. Она посмотрела на Cenric'a и сказала:

— Хлеба возьми. И воды. Не пей из ручья — там листья гниют.

— Знаю, — сказал Cenric.

— Ничего ты не знаешь, — сказала она. — Тебе семнадцать. В семнадцать все думают, что знают. — Она ушла в дом и вернулась с куском хлеба, завёрнутым в тряпицу, и глиняной флягой. — Иди. И не задерживайся. Темнеет рано.

Cenric взял топор, верёвку, хлеб, флягу. Он не спросил, почему именно он. У него были братья, но они работали в поле. Он не спросил, почему отец не пошёл сам. У отца болела спина. Он просто кивнул и пошёл.

Лес был в дне пути — недалеко, но и не близко. Сначала шло поле, потом — луг, где паслись овцы, потом — овраг, который весной превращался в реку, а осенью был просто грязной канавой. Cenric шёл по краю поля, вдоль межи, и смотрел на лес. Лес был стеной — тёмной, густой, с редкими просветами, где стояли берёзы. Он шёл и думал о викингах. Он всегда думал о викингах. Он думал: «Если они придут осенью — успеем ли убрать урожай? Если придут зимой — хватит ли дров? Если придут весной — успеем ли вспахать?»

Он дошёл до леса к полудню. Солнце стояло высоко, но в лесу было темно и сыро. Пахло прелой листвой и грибами. Он выбрал сухое дерево — берёзу, которая уже начала крениться, — и начал рубить. Топор был тяжёлый, но привычный. Он рубил размеренно, в такт дыханию. Удар. Ещё удар. Ещё.

Он рубил уже часа два, когда услышал голоса.

Не викингов. Не волков. Людей. Женские голоса — негромкие, переговаривающиеся. Он опустил топор. Прислушался. Голоса были где-то за кустами орешника, справа. Он пошёл на звук, раздвигая ветки. Он не крался — просто шёл, потому что ему было интересно. В лесу редко бывают люди. Тем более — женщины. Тем более — в полдень.

За кустами была поляна. На поляне стояли три девушки с корзинами. Они собирали ягоды — чернику и землянику, которая уже отходила, но ещё держалась на солнечных местах. Две девушки были старше, в платках, с широкими бёдрами. Третья — моложе, тонкая, с острым подбородком. Она стояла на коленях в грязи, спиной к нему, и пыталась вытащить из переплетения корней свою корзину.

Корзина застряла. Девушка дергала её, ломая ногти, и ругалась так виртуозно, что Cenric невольно хмыкнул.

Она резко обернулась. У неё были серые глаза, злые от досады, и грязные волосы, выбившиеся из-под платка. В одной руке она держала помятый ковш, которым собирала ягоды.

— Чего уставился? — спросила она.

Старшие девушки замолчали. Они смотрели на Cenric'a с опаской. Мужчина в лесу, с топором — это могло быть и хорошо, и плохо. Они не знали, кто он.

Cenric не обиделся. Он смотрел на застрявшую корзину.

— Она за клин попала, — сказал он. — Ты тянешь не в ту сторону. Надо вбок.

— Я знаю, что надо вбок, — огрызнулась она. — У меня руки скользкие от сока.

Cenric положил топор на траву. Подошёл. Присел на корточки рядом. Не спрашивая разрешения, взялся за край корзины. Подцепил ветку, отогнул.

— Дергай, — сказал он.

Она дернула. Корзина вылетела из корней, и девушка едва не упала назад. Ягоды — черника и земляника — рассыпались по мху.

— Вот и всё, — сказал Cenric. — Делов-то.

Она смотрела на рассыпанные ягоды. Потом на него. Потом начала собирать их обратно, быстро, зло.

— Ты мне половину подавил, — сказала она.

— Я тебе корзину спас, — сказал он.

— Спасибо, — буркнула она. Без тепла. Как отдают долг. — Я тут полдня собирала. А теперь вот.

Старшие девушки переглянулись. Одна из них сказала:

— Elfgyth, мы пойдём дальше. Догоняй.

Они ушли, оставив её одну. Не потому, что хотели — потому что не хотели стоять рядом с незнакомым мужчиной. Cenric сел на траву. Не потому, что хотел остаться. Просто ноги устали рубить. Он смотрел, как она собирает ягоды. Она делала это быстро, привычно, не глядя на него.

— С утра собираешь? — спросил он.

— С утра.

— А я с утра рублю, — сказал он. — Отец послал. Говорит, зима злая будет.

Она подняла голову. Посмотрела на него внимательнее.

— Ты — сын Wulfric'a? — спросила она.

— Да. Откуда знаешь?

— Я в вашу деревню ягоды ношу. Твой отец — тот, который из Франкии приехал?

— Нет. Тот — другой. Мой отец — пахарь.

— А. — Она отвернулась. — А я Elfgyth. Дочь Edric'a. Из Санса.

— Из Санса? — переспросил Cenric. — Это же у побережья.

— Да.

— Там викинги.

— Да. — Она помолчала. — Я видела дым. Далёкий. Спрашивала отца: «Это они?». Он говорил: «Пока нет. Но может быть». — Она посмотрела на Cenric. — Я не хочу так жить. Ждать.

Cenric молчал. Он думал о том же. О викингах, о дыме, о том, что он тоже не хочет ждать.

— Я тоже не хочу, — сказал он.

Она посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

— Ты кто?

— Я уже сказал. Cenric. Сын Wulfric'a.

— Нет. — Она покачала головой. — Я не про имя. Я про... — Она замолчала. Подбирала слово. — Ты странный. Другие бы прошли мимо. А ты подошёл. Помог. Сел. Говоришь.

— А что мне делать? — спросил он. — Я не могу рубить дрова вечно. Я устал.

Она усмехнулась. Коротко, но уже без злости.

— Я тоже устала, — сказала она. — Я хочу большего. Не знаю чего. Но большего.

Cenric посмотрел на неё. Он не удивился. Он понял.

— Я тоже, — сказал он.

Она встала. Отряхнула подол. Взяла корзину.

— Ну, бывай, сын пахаря, — сказала она. — Мне ещё в лес, а тебе — дрова рубить. Не забудь два воза. А то отец не пустит.

Она пошла. Не попрощавшись. Просто пошла. Cenric смотрел ей вслед. Он не знал, что сказать. Но он понял, что впервые за долгое время он не чувствовал себя одиноким.

Он вернулся к берёзе. Поднял топор. И начал рубить снова. Но теперь он рубил быстрее. Не потому, что спешил. Потому что хотел успеть вернуться до темноты. И, может быть, ещё раз её увидеть.

* * *

II

Они встретились снова через две недели. Не случайно — Cenric специально пошёл в тот же лес, хотя дров было уже достаточно. Он сказал отцу, что нашёл хорошую сухую берёзу, и что хочет взять ещё. Отец кивнул. Он не спрашивал.

Elfgyth была там же. На той же поляне. На этот раз без старших девушек. Она собирала грибы. Он подошёл, сел рядом. Она не удивилась.

— Дрова кончились? — спросила она.

— Кончились, — соврал он.

Они проговорили до вечера. О деревне, о викингах, о страхе, о том, что они хотят. Она рассказывала, как её мать лечит людей травами, и как она сама учится этому. Он рассказывал, как считает мешки с зерном и замечает, что некоторые мешки легче, чем должны быть. Они говорили о том, чего никто вокруг не замечал: что воду надо кипятить, что раны надо промывать, что зёрна надо считать, а не взвешивать на глаз. Они не знали, зачем им это. Они просто видели, что так правильнее.

Через месяц они стали парой. Не потому, что полюбили друг друга с первого взгляда. Они стали парой потому, что поняли: они оба хотят одного. Не любви, не дома, не детей. Они хотели **величия**. Не славы — величия. Они хотели быть **кем-то**, а не **чем-то**. И они поняли это друг в друге раньше, чем кто-либо другой.

Свадьба была скромной. Пришли родители, братья Cenric'a, мать Elfgyth. Священник прочитал молитву. Отец Cenric'a подарил им топор — не новый, но хороший. Мать Elfgyth — мешочек с травами. Они поселились в маленьком доме на краю деревни. Дом был старый, с протекающей крышей и земляным полом. Они починили крышу, застелили пол соломой, повесили занавески. Это был не дворец. Но это был их дом.

Они работали с рассвета до заката. Cenric — в поле, с отцом и братьями. Elfgyth — по хозяйству, с травами, с огородом. Вечерами они садились у очага и говорили. О том, что видели. О том, что можно было бы сделать иначе. О том, как сделать так, чтобы вода была чище, а раны заживали быстрее.

* * *

III

В 850 году умер Wulfric. Он умер не от меча — от болезни. Он кашлял кровью, худел, слабел. Cenric сидел у его постели три дня. На четвёртый день Wulfric сказал: «Не плачь. Я прожил достаточно. Теперь твоя очередь». И умер.

Cenric не плакал. Он вышел из дома, сел на крыльцо и смотрел на поле. Elfgyth пришла через час — она собирала ягоды. Она села рядом. Не сказала ничего. Просто сидела. Через час он сказал: «Я не знаю, что делать». Она сказала: «Что случилось?». Он сказал: «Отец умер». Она сказала: «Это действительно ужасно... Но мы справимся». Он посмотрел на неё и понял: она не утешает. Она говорит правду. И это было важнее утешения.

После этого они стали ближе. Не потому, что горе сближает — потому, что они увидели друг друга в деле. Она не бросила его. Он не оттолкнул её. Они просто были вместе. И это было достаточно.

* * *

IV

В 851 году пришли викинги. Не слухи — они. Триста пятьдесят кораблей. Они вошли в устье Темзы и двинулись на Лондон. Король Æthelwulf собрал фирд. Cenric'у было семнадцать. Он пошёл добровольцем.

Он не был воином. Он был крестьянином. Но он умел считать. Он умел видеть. Он умел думать. И он знал: викинги сильны не потому, что у них больше людей, а потому, что они не боятся. Они идут вперёд, потому что верят, что победят. Если их напугать — они дрогнут. Если они дрогнут — они проиграют.

Битва была на острове Сануич. Викинги высадились, построились, двинулись. Англичане стояли на холме. Cenric был в первых рядах — не потому, что хотел славы, а потому, что хотел видеть. Он смотрел на викингов и думал: «Они не боятся. Но они не знают, что мы готовы». Он повернулся к людям рядом — крестьяне, такие же, как он, с топорами и копьями, — и сказал:

— Они думают, что мы испугаемся. Они думают, что мы побежим. Мы не побежим. Мы будем стоять. И они дрогнут.

Они не побежали. Они стояли. Викинги дрогнули. Не сразу — но дрогнули. Cenric не убил никого в тот день — он не умел. Но он сделал так, что другие убили. Он стоял и говорил, и люди слушали. Он не был командиром — он был семнадцатилетним крестьянином. Но он говорил так, что ему верили.

После битвы Æthelwulf сам нашёл его. Король был в грязи, в крови, усталый. Он сказал:

— Ты говорил с людьми. Я видел.

— Я говорил, — сказал Cenric.

— Ты не воин.

— Нет.

— Но ты знаешь, как говорить.

— Знаю.

Æthelwulf помолчал. Потом сказал:

— Если пойдёшь со мной в следующую битву — станешь человеком, владеющим землёй. Тэном. Я обещаю.

Cenric поклонился. Он не сказал «спасибо». Он сказал:

— Я пойду.

Но он не стал тэном сразу. Король не дал ему землю в тот же день. Он взял его в свиту — как человека, который умеет считать и говорить с людьми. Cenric ездил с королём, выполнял поручения: пересчитывал скот в имениях, проверял, как идёт постройка мостов, составлял списки людей, способных носить оружие. Это была скучная, бумажная работа. Но именно она делала его полезным. Король видел: этот парень не просто храбрый. Он умеет думать. Он умеет видеть, где убывает зерно, где гниёт дерево, где люди не хотят работать. И он говорит об этом прямо.

* * *

V

Elfgyth была там же. Не на поле — в лагере. Она не умела сражаться. Но она умела лечить. Она научилась у матери — та знала травы, умела останавливать кровь, умела вправлять вывихи. Elfgyth была рядом с Cenric'ом с первого дня. Она обрабатывала раны, перевязывала, поила отварами. Ей было семнадцать. Она была единственной женщиной в лагере — не считая нескольких жён, которые пришли с мужьями. Она не боялась. Она просто делала.

Когда Cenric вернулся с поля — живой, но изрезанный, — она не заплакала. Она сказала:

— Сядь. Я посмотрю.

Она промыла раны кипячёной водой — той самой, что грелась в котле. Вода стекала розовая, смывая грязь и запёкшуюся кровь. Она уже видела, как гниёт плоть, если промыть её водой из лужи.

Она наложила повязки. Она сказала:

— Ты глупый. Ты не умеешь драться.

— Я не дрался. Я говорил.

— Это тоже опасно.

— Я знаю.

Она посмотрела на него. Потом сказала:

— Не умирай. Я не хочу остаться одна.

Он сказал:

— Я не умру.

В 853 году они пошли на Танет. Викинги зимовали на острове — грабили, жгли, убивали. Æthelwulf собрал фирд и двинулся на них. Cenric пошёл. Elfgyth пошла.

Битва была тяжёлой. Англичане проиграли — не сразу, но проиграли. Викинги были сильнее, опытнее, злее. Но Cenric сделал то, что умел: он говорил. Он собрал вокруг себя людей — не командиров, а таких же крестьян, как он, — и сказал:

— Мы не победим. Но мы можем сделать так, чтобы они запомнили. Чтобы они боялись нас. Чтобы в следующий раз они думали, прежде чем идти.

Они не победили. Но они убили много. Cenric убил больше всех — не потому, что был сильнее, а потому, что не боялся. Он шёл вперёд, когда другие отступали. Он рубил, когда другие падали. Он не думал о смерти — он думал о том, что если он умрёт, то умрёт не зря.

Его ранили. Сильно. В бок, в плечо, в голову. Он упал. Elfgyth нашла его через час — в грязи, в крови, без сознания. Она перевязала его, остановила кровь, привела в чувство. Она не плакала. Она говорила:

— Не смей умирать. Слышишь? Не смей.

Он выжил. Æthelwulf, узнав о нём, приказал придворным медикам лечить его. Не потому, что любил — потому, что понимал: такие люди нужны. Такие люди — редки.

В лагере после Танета было много раненых. И многие умирали — не от меча, а позже, когда раны начинали чернеть и пахнуть падалью. Elfgyth смотрела на это каждый день. Она замечала, чьи повязки она меняла сама, обмывая раны горячей водой, и чьи оставляла, потому что не хватало рук. Те, кого она промывала, держались крепче. Те, кого не успевала, сгорали за пару дней. Она не знала, почему так происходит. Она просто начала заставлять служанок кипятить воду и сдирать старые тряпки. Это была не милость. Это была логистика. И король заметил, что его армия теряет меньше людей. Он спросил, кто это устроил. Ему сказали: жена Cenric'a. Он кивнул. И дал ей землю. Не как «женщине воина», а как специалисту, чей навык сохраняет ему солдат.

* * *

VI

Æthelwulf выполнил обещание. Cenric и Elfgyth стали тэнами. Не сразу — через год, когда Cenric оправился от ран. Но стали. Они получили землю — пять гайд. Это было немного, но достаточно. Они получили звание — не высокое, но настоящее. Они стали **кем-то**.

Земля была недалеко от Винчестера — плодородная, с рекой, с лесом. На ней стояла старая усадьба, полуразрушенная, с протекающей крышей и покосившимся забором. Они переехали туда весной 854 года. И начали работать.

Cenric вставал до рассвета. Он не мог иначе — тело привыкло. Он выходил во двор, смотрел на поля, на скот, на людей. Он считал. Он всегда считал. Он считал мешки с зерном, головы скота, людей, способных работать. Он замечал, что некоторые работники работают хуже

других. Он не кричал на них. Он просто переводил их на другую работу — ту, где они могли быть полезны. Он не был жестоким. Он был эффективным.

Elfgyth вставала вместе с ним. Она занималась хозяйством, травами, огородом. Она лечила людей — не только своих, но и соседских. Она не брала денег. Она брала продуктами, услугами, информацией. Она знала, кто в деревне болен, кто голодает, кто пьёт. Она знала всё.

Они работали по тринадцать часов в день. Не потому, что кто-то заставлял. Потому, что иначе было нельзя. Земля требовала внимания. Люди требовали внимания. Скот требовал внимания. Они не отдыхали. Они не могли себе позволить отдых. Они знали: если они остановятся, всё рухнет.

Но они не были одиноки. У них были работники — не рабы, а свободные крестьяне, которые работали за еду и долю урожая. Они не били их. Они не унижали их. Они просто платили вовремя и не обманывали. И люди это ценили. Они оставались. Они работали лучше. Они не уходили.

Cenric построил новый дом — не дворец, но крепкий. С каменным фундаментом, с добротной дубовой крышей, с плотными ставнями, которые не пропускали ветер. Он не жалел дерева. Он хотел, чтобы в доме было сухо. Он хотел, чтобы дети не кашляли от сырости. Он хотел, чтобы жена не мёрзла по ночам.

Elfgyth разбила сад. Не просто огород — сад с травами, с цветами, с деревьями. Она привезла семена из Франкии, из Санса, из других мест. Она экспериментировала. Она не боялась ошибаться. Она записывала результаты — на восковых табличках, на пергаменте, на всём, что попадалось под руку. Она училась.

* * *

VII

В 869 году они уехали во Франкию. Не потому, что хотели убежать — потому, что хотели учиться. Они были тэнами, но они были крестьянами. Они знали, как работать руками, но не знали, как управлять землёй. Они знали, как считать до десяти, но не знали, как вести учёт. Они знали, как говорить с людьми, но не знали, как говорить с королями.

Во Франкии они провели пять лет. Они учились читать, писать, считать. Они учились строить, лечить, управлять. Они учились у монахов — не потому, что верили в Бога, а потому, что монахи знали то, чего не знали они. Они не спорили с монахами. Они просто брали знания и уходили. Они не молились об урожае. Они считали мешки с зерном.

И они видели Европу. Грязную, чешущуюся, умирающую от болезней. Они видели, как монахи чешутся над книгами. Они видели, как крестьяне пьют из лужи, где плавает дохлая крыса. Они видели, как дети сохнут за неделю от кровавого поноса, и матери молятся у их постелей, не зная, что нужно было просто вскипятить воду. Cenric и Elfgyth смотрели на это и молчали. Они уже знали, что можно иначе. Они видели это на своих землях. И это знание жгло им руки.

В 874 году они вернулись. Alfred уже был королём — он взошёл на трон в 871-м, после смерти отца. Он был молод, амбициозен, странен. Он хотел того же, чего хотели они: **величия**. Но он хотел не для себя — для страны. Они не знали его лично. Но они слышали о нём. И они думали: «Может быть, он — тот, кто сможет».

Послы Альфреда пришли через месяц после их возвращения. Они передали благодарность от короля — за службу, за верность, за то, что они вернулись. Cenric и Elfgyth стояли в дверях своего дома и слушали. Потом Cenric сказал:

— Передайте королю, что мы служим не за благодарность. Мы служим за Англию.

Посол кивнул. Он не понял. Но он запомнил.

Cenric и Elfgyth не были святыми. Они были амбициозны, жёстки, расчётливы. Они хотели величия — и они его получили. Не потому, что им повезло — потому, что они работали.

Они шли вперёд, когда другие отступали. Они учились, когда другие отдыхали. Они видели, когда другие спали.

И они знали: их сын будет таким же.

Часть 3: Первая точка

* * *

I

Ælfredo родился в 874 году.

Haggona положила ребёнка на грудь Elfgyth. Ребёнок был красный, сморщенный, с закрытыми глазами и сжатыми кулачками. Он не кричал — он спал. Cenric смотрел на него и не знал, что сказать. Он видел много детей — в деревне, в лагере, на поле. Но этот был его. Это было другое.

Elfgyth посмотрела на мужа. Потом на сына. Потом сказала — тихо, почти шёпотом, но так, чтобы он слышал:

— *Wundor gecyndes! Ūre welan!*

— «Чудо природы! Наше богатство!»

Cenric кивнул. Он не умел говорить красиво. Он умел говорить по делу. Но сейчас он не мог сказать по делу. Он просто стоял и смотрел, как грудь младенца ритмично поднимается и опускается. В доме всё ещё пахло кипячёной водой, но теперь к этому запаху примешивался новый — запах молока, пота и чего-то ещё, тонкого и тёплого, что Cenric не мог назвать. Он подошёл к окну, распахнул ставни шире. Сырой осенний воздух ворвался в комнату, смешиваясь с паром. Cenric смотрел на дым над полем и чувствовал, как в груди что-то сжимается. Не страх. Ответственность.

* * *

II

Первые три года Ælfredo не помнил. Он помнил только запахи — кипячёной воды, шерсти, дыма от очага. И тепло. Тепло матери, тепло отца, тепло матраса, на котором он спал.

Матрас был из перьев — не из соломы, как у других детей. Cenric привёз его из Франкии вместе с привычкой кипятить воду. Перья были мягкие, но рвались часто. Elfgyth чинила его каждую неделю — садилась у окна, доставала иглу и нитку, и зашивала прорехи. Ælfredo, едва научившись сидеть, любил наблюдать за этим процессом. Он смотрел, как мать ловко продевает нитку сквозь плотную ткань, как стягивает края, оставляя аккуратный шов.

— Почему у других детей солома, а у меня перья? — спросил он однажды, когда ему было года четыре. Он сидел рядом с матерью на широкой деревянной скамье, болтая ногами, которые ещё не доставали до пола.

Мать откусила нитку, завязала узелок и только потом ответила:

— Потому что ты — наш сын. А мы — тэны. Мы можем себе позволить перья.

— А другие не могут?

— Не могут.

— Почему?

Она помолчала. Отложила шитьё на колени, посмотрела на него. У неё были серые глаза, как у отца, но взгляд — другой. Более острый, что ли. Она всегда смотрела так, будто проверяла, понял ли он.

— Потому что они родились не у тэнов, — сказала она.

Ælfredo нахмурился. Он знал, что такое «тэн». Отец объяснял: тэн — это тот, кто управляет землёй, собирает налоги, судит людей. Но почему одни рождаются тэнами, а другие нет? Он не понимал. Он посмотрел на свои руки — маленькие, чистые, с аккуратно подстриженными ногтями. Потом на руки матери — в мелких морщинках, с пятнами от трав и ссадинами от работы. Она не всегда была тэном. Она была крестьянкой. Он знал это. Значит, можно стать

тэном? Он хотел спросить, но не спросил. Почему-то показалось, что это будет неправильный вопрос.

Он не понял. Но запомнил.

* * *

III

В четыре года он начал учиться. Не по принуждению — по желанию. Он видел, как отец сидит над бумагами в своей каморке — маленькой комнате, где пахло чернилами и сухим пергаментом. Cenric сидел там часами, сгорбившись над столом, и что-то писал. Ælfredo подходил к двери, останавливался на пороге и смотрел. Он видел, как перо отца оставляет на пергаменте тонкие чёрные линии. Линии складывались в буквы. Буквы складывались в слова. Слова имели смысл.

Однажды он набрался смелости и спросил:

— Что ты делаешь?

Отец поднял голову. В его глазах отразилось пламя свечи. Он не рассердился, не прогнал его. Он отложил перо и ответил:

— Считаю налоги.

— Зачем?

— Чтобы знать, сколько мы должны королю.

— А зачем мы должны королю?

— Потому что он дал нам землю.

— А зачем он дал нам землю?

Отец откинулся на спинку стула. Он смотрел на сына долго, будто видел его впервые. Ælfredo не отводил взгляда. Он действительно хотел знать.

— Потому что мы ему нужны, — сказал отец. — Мы управляем этой землёй. Мы судим людей. Мы собираем налоги. Мы отвечаем за них.

— А кто отвечает за нас?

— Король.

— А кто отвечает за короля?

Отец замолчал. В комнате стало тихо. Слышно было только, как потрескивает свеча и как за окном ветер шевелит ставни. Cenric посмотрел на свои руки. На чернильные пятна на пальцах. Потом сказал:

— Бог.

Ælfredo не поверил. Он не говорил этого вслух — он знал, что это грех. Но он не верил. Он видел, как священник чешется под сутаной, как монахи спорят о пустяках и как люди молятся и всё равно умирают. Он не видел Бога. Он видел только людей. И он думал: «Если Бог есть, почему он не сделает так, чтобы все были сыты?» Он не спрашивал. Он просто думал.

* * *

IV

Жизнь Ælfredo была расписана — по солнцу, по петухам, по колоколу в церкви Святой Марии, чей звон доносился через поле.

Он просыпался затемно, когда за ставнями было ещё черно. Не потому, что его будили, — потому что тело привыкло. Он лежал в темноте, слушал, как Haggona гремит котлами на кухне, как отец уже скрипит пером в каморке, как мать тихо напевает над очагом. Потом вставал.

Первое — вода. Elfgyth заставляла его пить тёплую кипячёную воду с щепоткой соли. Каждое утро. Он пил её медленно, маленькими глотками, пока мать стояла рядом и смотрела. Потом — умывание. Таз с кипячёной водой и глиняная плошка с просеянной золой. Cenric настоял: «Зола выедает грязь, а кипяток смывает заразу». Ælfredo мочил руки, тёр ладони и пальцы золой, пока кожа не начинала краснеть, а потом смывал всё чистой водой. Elfgyth

проверяла: брала его руки в свои, осматривала ногти. Если под ногтем оставалась грязь — отправляла тереть заново.

С рассветом — чтение. Не по желанию, а по расписанию. Cenric приносил книги из своего сундука — тяжёлые, в кожаных переплётах, с пожелтевшими страницами. Ælfredo читал вслух. По-латыни — молитвы и псалмы. По-английски — законы и хроники. Отец сидел напротив, слушал, поправлял произношение. Если Ælfredo ошибался — заставлял перечитывать абзац с начала. Иногда — весь отрывок. Иногда — всю страницу. Он не кричал. Он просто ждал. И Ælfredo читал снова.

После чтения — счёт. Cenric давал ему задачки: «У нас три поля. Одно даёт двадцать мер зерна, второе — пятнадцать, третье — десять. Сколько всего?» Ælfredo считал в уме. Потом на пальцах. Потом — на восковой табличке. Отец проверял. Если ответ был неверным — объяснял заново. Если верным — давал следующую задачку, сложнее. Ælfredo любил счёт. Он не любил чтение. Чтение было медленным, скучным, полным ошибок. Счёт был быстрым, точным, безжалостным. Как отец.

К обеду — работа. Не учёба, а настоящая работа. Ælfredo помогал Haggona носить воду, кормить кур, чистить свинарник. Не потому, что это было нужно — потому что Cenric считал: «Тэн должен знать, как работают его люди. Иначе он не сможет ими управлять». Ælfredo не спорил. Он брал ведро и шёл к колодцу. Вода была холодная, тяжёлая, и руки у него дрожали, когда он поднимал ведро. Но он не жаловался. Он знал: если пожалуется — отец скажет: «Значит, ты ещё не готов быть тэном».

После обеда — снова учёба. На этот раз — письмо. Ælfredo садился за стол в каморке отца, брал восковую табличку и стилос. Cenric диктовал ему законы — медленно, слово за словом. Ælfredo писал. Буквы получались кривыми, стилос скользил, воск крошился. Он злился. Стирал. Писал снова. Отец стоял над ним, смотрел. Если Ælfredo ошибался — говорил: «Ещё раз». Если писал правильно — кивал: «Дальше». Так проходило два часа. Иногда — три.

К вечеру — свобода. Не полная — Cenric не разрешал ему уходить далеко от усадьбы. Но Ælfredo мог выйти во двор, сесть под дубом, смотреть на небо. Или пойти к реке — не купаться, просто смотреть, как вода течёт между камнями. Или — что он любил больше всего — считать. Он считал всё: листья на дубе, камни на берегу, кур во дворе. Потом складывал, делил, находил среднее. Он не знал, зачем ему это. Он просто делал. Мир становился понятнее, когда ты его считал.

Ужин был скудным. Каша, хлеб, иногда — сыр или рыба. Мясо — только по праздникам. Ælfredo не жаловался. Он знал: так едят все тэны. Он видел, как едят крестьяне — ещё хуже. Он не хотел быть как они.

Перед сном — молитва. Elfgyth читала вслух — по-латыни, медленно, с трудом. Ælfredo слушал. Он не молился. Он просто слушал. Он смотрел на мать и думал: «Она верит. А я — нет. Почему?» Он не находил ответа. Но он знал: если скажет вслух — она расстроится. Поэтому он молчал.

Он засыпал поздно — когда за окном было уже совсем темно. Он лежал на матрасе из перьев, смотрел в потолок и слушал, как за стеной отец всё ещё скрипит пером, как Haggona тушит свечи на кухне, как ветер шевелит ставни. Он думал о том, что завтра будет то же самое. И послезавтра. И через год. Он не знал, хорошо это или плохо. Он просто знал: так устроено. И он не хотел это менять. Пока.

* * *

V

Читать он научился в пять. Писать — в шесть. Считать — в четыре. Счёт был его любимой игрой.

Он выходил во двор, смотрел на деревья и считал их. Потом считал высоту — на глаз, по стволу, по веткам. Потом складывал и делил. Получалось среднее арифметическое. Он не

знал, что это называется «среднее арифметическое». Он просто делал это. Ему нравилось, что можно посчитать всё — деревья, камни, кур, людей. Мир становился понятнее, когда ты его считал.

Однажды он сидел под старым дубом на краю усадьбы. Вокруг него росли три берёзы — разные, непохожие. Одна была высокая и тонкая, другая — низкая, но широкая, третья — кривая, с обломанной верхушкой. Ælfredo смотрел на них, потом закрыл глаза и попытался представить их вместе. Одну общую берёзу. Не самую высокую, не самую низкую, не самую кривую. Среднюю. Он открыл глаза. Такой берёзы не было. Но она была в его голове. И от этого всё вокруг стало казаться стройнее и понятнее.

Он любил писать. Не потому, что хотел стать писателем — потому, что хотел говорить. Он писал на английском — своём языке. Языке, на котором говорили его родители, его слуги, его соседи.

Он писал на восковых табличках, которые отец привозил из города. Таблички были тяжёлые, с деревянной рамкой и тёмным воском внутри. Буквы на воске получались кривыми — стилос скользил, воск крошился под острым концом. Ælfredo злился, когда буквы выходили неровными, и стирал их обратной стороной стилоса, разглаживая воск большим пальцем. Он писал всё: жалобы на скучную еду, жалобы на родителей, рассказы о том, как он побеждает викингов один.

Однажды он написал: *«Сегодня опять репа. Я не хочу репу. Репа — это еда для свиней. Я тэн, а не свинья»*. Мать прочитала, засмеялась и показала отцу. Отец прочитал, нахмурился и сказал:

— У тэна не должно быть таких ошибок. Ты написал «репа» с двумя «п».

— Но это же правда, — сказал Ælfredo. — Про свиней.

— Правда должна быть написана правильно, — ответил отец. — Иначе её никто не поймёт.

Ælfredo запомнил. С тех пор он проверял каждое слово дважды, прежде чем написать его на воске.

* * *

VI

С другими детьми он не играл. Не потому, что не хотел — потому, что ему не разрешали. Дети крестьян, дети слуг, дети соседей — они были «ниже».

Отец говорил:

— Не играй с ними. Научишься чему-нибудь глупому.

Мать говорила:

— Они не учатся. Они не умеют читать. Они не умеют считать. Они вырастут и будут работать в поле. А ты будешь управлять ими. Ты должен быть выше.

Ælfredo смотрел на них — на детей, которые бегали по улице, играли в палки, смеялись, падали в грязь и визжали от восторга. Он стоял у окна и смотрел. Однажды он спросил:

— А почему они не учатся?

Мать ответила:

— Потому что они не могут.

— Почему?

— Потому что они родились не у тэнов.

— А если бы они родились у тэнов?

— Тогда бы учились.

Ælfredo замолчал. Потом сказал:

— Это несправедливо.

Мать посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

— Да. Но так устроено.

Он не согласился. Он не сказал этого вслух — он знал, что это бесполезно. Но он не согласился. Он думал: «Если это несправедливо, почему это нельзя изменить?» Он не знал ответа. Но он знал, что хочет его найти.

* * *

VII

Его наказывали. Не часто — но наказывали. За непослушание, за лень, за то, что убегал гулять вместо учёбы. Наказание было простым: ставили в угол. Не били — бить было не принято. Просто ставили в угол и заставляли стоять. Час. Два. Пока не скажет: «Я понял».

Угол был тёмный — в дальнем конце комнаты, где не было окон, где пахло пылью и старой шерстью. Ælfredo стоял лицом к стене, смотрел на серые доски и считал трещины. Он насчитал двадцать три трещины. Потом двадцать пять. Потом сбился и начал заново. Время шло медленно. Он слышал, как мать ходит по дому, как отец перелистывает бумаги в каморке, как Haggona гремит котлами на кухне. Он хотел обернуться, но не оборачивался. Он знал: если обернётся — накажут сильнее.

Он говорил: «Я понял». Но не понимал. Он стоял в углу и думал: «Почему я не могу делать то, что хочу?» Он не находил ответа. Но он знал: родители его любят. Они наказывают не потому, что злые — потому, что хотят, чтобы он вырос правильным. Он не знал, что значит «правильным». Но он знал, что они стараются.

* * *

VIII

Вода. Он привык к чистой воде с рождения. Не потому, что ему объяснили — потому, что другой не было. В их доме воду кипятили всегда — с вечера, чтобы к утру было достаточно. Он пил её тёплой, с щепоткой соли. Он не знал, что так делают не везде. Он думал, что так делают все.

Однажды он пошёл с отцом в деревню — к кузнецу, за инструментом. Деревня встретила его запахом горелой шерсти, мокрой земли и чего-то кислого. Люди ходили по узким улочкам, сгорбленные, с серыми лицами. Дети ковырялись в грязи. Собаки лаяли. У колодца стояла очередь — женщины с ведрами, дети с кувшинами. Вода в колодце была мутная, с плавающими листьями и какими-то букашками на поверхности.

Кузнец — широкоплечий мужчина с обожжёнными руками — предложил Ælfredo воды. Из бочки. Сырой. Ælfredo взял кружку, посмотрел на воду — мутную, с какими-то пятнами на поверхности. Он не стал пить. Он сказал:

— Спасибо, я не хочу.

Кузнец пожал плечами. Отец посмотрел на него и ничего не сказал. Но по дороге домой сказал:

— Ты правильно сделал.

— Почему?

— Потому что от этой воды у тебя заболит живот.

— А почему у кузнеца не болит?

Отец помолчал. Потом сказал:

— Болит. Он просто привык.

Ælfredo не хотел привыкать. Он хотел пить чистую воду. Он не знал, что это — привилегия. Он думал, что это — норма.

* * *

IX

В восемь лет он знал: читать, писать, считать, вести учёт, считать среднее арифметическое, писать жалобы и рассказы. Он знал, что вода должна быть чистой. Он знал, что дети крестьян не учатся. Он знал, что это несправедливо. Он не знал, что с этим делать.

Он сидел на крыльце своего дома — большого, крепкого, с матрасом из перьев и сундуком с книгами. Он смотрел на деревню — на детей, которые играли в палки, на женщин, которые стирали в реке, на мужчин, которые работали в поле. Он думал: «Они не знают, что можно иначе. Они не знают, что вода может быть чистой. Они не знают, что можно читать. Они не знают, что можно считать». Он думал: «Я знаю. Значит, я должен что-то сделать».

Он не знал, что. Но он знал, что это будет. Когда-нибудь.

Солнце садилось за лес, окрашивая небо в цвет старой крови. Ælfredo сидел на крыльце и смотрел, как возвращаются с поля работники — усталые, сгорбленные, с инструментами на плечах. Они проходили мимо его дома, не поднимая глаз. Они не видели его. А он видел их. И он думал о том, что между ним и ими — стена. Невидимая, но прочная. Стена из перьев, чистой воды и умения считать. И он не знал, хочет ли он её разрушить или укрепить. Он просто знал, что она есть. И это знание жгло его изнутри, как проглоченный уголёк.

Часть 4: привычка

I

Мне девять. Я просыпаюсь затемно, когда за ставнями ещё черно. Не потому, что хочу, — потому что тело привыкло. Я лежу в темноте, слушаю, как Haggona гремит котлами на кухне, как отец уже скрипит пером в каморке, как мать тихо напевает над очагом. Потом встаю.

Первое — вода. Мать заставляет меня пить тёплую кипячёную воду с щепоткой соли. Каждое утро. Я пью медленно, маленькими глотками, пока она стоит рядом и смотрит. Потом — умывание. Таз с кипячёной водой и глиняная плошка с просеянной золой. Отец настоял: «Зола выедает грязь, а кипяток смывает заразу». Я мою руки, тру ладони и пальцы золой, пока кожа не начинает краснеть, а потом смываю всё чистой водой. Мать проверяет: берёт мои руки в свои, осматривает ногти. Если под ногтем осталась грязь — отправляет тереть заново.

С рассветом — чтение. Не по желанию, а по расписанию. Отец приносит книги из своего сундука — тяжёлые, в кожаных переплётах, с пожелтевшими страницами. Я читаю вслух. По-латыни — молитвы и псалмы. По-английски — законы и хроники. Отец сидит напротив, слушает, поправляет произношение. Если я ошибаюсь — он не кричит. Он просто говорит: «Ещё раз». Я перечитываю. Иногда три раза. Иногда пять. Пока не сходится.

После чтения — счёт. Отец даёт мне задачки: «У нас три поля. Одно даёт двадцать мер зерна, второе — пятнадцать, третье — десять. Сколько всего?» Я считаю в уме. Потом на пальцах. Потом — на восковой табличке. Отец проверяет. Если ответ неверный — объясняет заново. Если верный — даёт следующую задачку, сложнее. Я люблю счёт. Я не люблю чтение. Чтение медленное, скучное, полное ошибок. Счёт быстрый, точный, безжалостный. Как отец.

К обеду — работа. Не учёба, а настоящая работа. Я помогаю Haggona носить воду, кормить кур, чистить свинарник. Не потому, что это нужно, — потому что отец считает: «Тэн должен знать, как работают его люди. Иначе он не сможет ими управлять». Я не спорю. Я беру ведро и иду к колодцу. Вода холодная, тяжёлая, и руки у меня дрожат, когда я поднимаю ведро. Но я не жалуюсь. Я знаю: если пожалуюсь — отец скажет: «Значит, ты ещё не готов быть тэном».

После обеда — снова учёба. На этот раз — письмо. Я сажусь за стол в каморке отца, беру восковую табличку и стилос. Отец диктует мне законы — медленно, слово за словом. Я пишу. Буквы получаются кривыми, стилос скользит, воск крошится. Я злюсь. Стираю. Пишу снова. Отец стоит над душой, смотрит. Если я ошибаюсь — говорит: «Ещё раз». Если пишу правильно — кивает: «Дальше». Так проходит два часа. Иногда — три.

К вечеру — свобода. Не полная — отец не разрешает мне уходить далеко от усадьбы. Но я могу выйти во двор, сесть под дубом, смотреть на небо. Или пойти к реке — не купаться, просто смотреть, как вода течёт между камнями. Или — что я люблю больше всего — считать. Я считаю всё: листья на дубе, камни на берегу, кур во дворе. Потом складываю, делю, нахожу

среднее. Я не знаю, зачем мне это. Я просто делаю. Мир становится понятнее, когда ты его считаешь.

А ещё вечером — меч. Не каждый день, но часто. Отец говорит: «Тэн должен уметь защитить свою землю». Я учусь. Держу рукоять, ставлю блок, бью по столбу. Меч тяжёлый, и плечо ноет уже через четверть часа. Но я не останавливаюсь. И пока я бью по столбу, я думаю о том, что все законы, которые я читал днём, — они только про наказание. Про то, как отобрать, как осудить, как объявить вне закона. Но ни один из них не говорит, как сделать так, чтобы людям не приходилось красть. Ни один не говорит, как сделать так, чтобы крестьянин не падал в поле. Я не спрашиваю вслух. Я знаю, что отец скажет: «Это не наша забота. Наша забота — порядок».

Ужин скудный. Каша, хлеб, иногда — сыр или рыба. Мясо — только по праздникам. Я не жалуюсь. Я знаю: так едят все тэны. Я видел, как едят крестьяне, — ещё хуже. Я не хочу быть как они.

Перед сном — молитва. Мать читает вслух — по-латыни, медленно, с трудом. Я слушаю. Я не молюсь. Я просто слушаю. Я смотрю на мать и думаю: «Она верит. А я — нет. Почему?» Я не нахожу ответа. Но я знаю: если скажу вслух — она расстроится. Поэтому я молчу.

Я засыпаю поздно — когда за окном уже совсем темно. Я лежу на матрасе из перьев, смотрю в потолок и слушаю, как за стеной отец всё ещё скрипит пером, как Haggona тушит свечи на кухне, как ветер шевелит ставни. Я думаю о том, что завтра будет то же самое. И послезавтра. И через год. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я просто знаю: так устроено. И я не хочу это менять. Пока.

Каждый вечер, когда я кладу меч обратно в стойку, я чувствую, как у меня дрожат руки. Не от тяжести. От злости. Я смотрю на чернильницу на столе отца и чувствую, как внутри меня что-то сжимается в тугой комок. Я знаю, что эти бумаги, которые я читаю, — они как глухая стена. Я бьюсь об них головой каждый день, и каждый день они остаются на месте.

* * *

II

Мне скучно. Не так, как скучно детям, которым нечего делать. Мне скучно от того, что я вижу, как всё устроено, и не могу это изменить.

Вчера я видел, как крестьянин упал посреди поля. Просто рухнул лицом вниз, как мешок с зерном, и остался лежать. Солнце жарило так, что воздух над дорогой дрожал. Никто не побежал к нему. Двое других мужиков подошли, лениво, как будто делали одолжение, взяли его за руки и оттащили в тень. Дали воды — из бочки, мутной, с плавающими листьями и какой-то дохлой мошкой на поверхности. Он открыл глаза, сделал глоток и закрыл их снова.

Я стоял рядом и смотрел. И у меня внутри всё горело. Я хотел закричать: «Не пейте это! Это же отрава! В ней зараза!» Я хотел выбить кружку из его рук. Но я стоял. Потому что знал: если я закричу, отец схватит меня за плечо и уведёт. А мужик всё равно выпьет — потому что он привык. Потому что никто ему не сказал, что можно иначе. Потому что он родился не у тэна.

Я записываю это. Тайно. Я прячу листки в сундуке под книгами — чтобы родители не нашли. Они не поймут. Они скажут: «Зачем ты пишешь о крестьянах? Ты — тэн. Ты должен думать о порядке, а не о них».

Вот что я написал вчера. Я писал дрожащими руками, и воск на табличке крошился под стилосом:

Þæs ceorles lic þisne dæg mid sumore feallan ic geseah. Nān mann ne efnde. «Этого крестьянина тело в этот день в середине лета падающим я видел. Ни один человек не обратил внимания».

Я записал это неправильно. Я знаю. Порядок слов не такой — я поставил дополнение перед глаголом, как в латыни. Но мне нравится, как это звучит. Как будто я говорю: «Вот это — тело. Вот это — день. Вот это — падение. И никто не видит».

Вот ещё:

Min fæder heardlice þām ceorle hlāf ætbrēd for his gylte. «Мой отец жёстко у того крестьянина хлеб отобрал за его вину».

Я видел это вчера. Крестьянин не сдал налог вовремя — не потому, что не хотел, а потому, что его сын болел, и он потратил деньги на лекаря. Я видел этого сына. Он лежал в углу их хижины на куче соломы, весь в поту, и дышал так тяжело, что казалось, его грудь сейчас разорвётся. А отец пришёл и забрал у них хлеб. Не весь — половину. Но это был хлеб на зиму. Крестьянин ушёл молча. Он не плакал. Он просто ушёл, сгорбившись так, будто ему на спину взвалили мешок с камнями.

Я стоял в дверях и смотрел на его спину. Я чувствовал себя предателем. Мой отец сделал это, а я — его сын. Я ел этот хлеб за ужином. Он казался мне горьким, как пепел. Я давился им, но заставлял себя глотать, потому что не мог показать, что чувствую.

Я думаю: «Если бы он умел читать, он бы знал, что налог можно отсрочить. Если бы он знал, что можно отсрочить, он бы не потерял хлеб. Если бы он не потерял хлеб, его сын бы выжил». Я не знаю, выжил ли сын. Я не спрашивал. Но я думаю об этом каждый день, когда вижу на столе хлеб.

И вот ещё:

Se smiþ wið þæs wæteres fūlan drenc oþþe ealu dranc, næs þæs clānan. «Тот кузнец вместо той воды грязного напитка или эля пил, не той чистой».

Он пьёт мутную воду или эль, потому что не знает, что вода может быть чистой. Он привык. Он думает, что так и надо. Он не знает, что от этой воды у него болит живот. Он не знает, что его дети умирают от поноса. Он думает, что такова воля Божья.

Я знаю, что это не воля Божья. Это воля людей. Людей, которые не учат. Людей, которые не знают. Людей, которые родились не у тэнов. И когда я думаю об этом, мне хочется разбить что-нибудь. Что угодно. Просто чтобы услышать, как хрустит дерево или глина. Но я не могу. Я сижу тихо и пишу.

* * *

III

Мне двенадцать. Я начал писать текст. Не рассказ, не жалобу — текст. О том, как должно быть. Я называю его «*Be þām betstan rīce*» — «О лучшем государстве». Я не знаю, зачем я это пишу. Я знаю, что это никогда не случится. Но я пишу. Это единственное место, где я могу дышать.

Я пишу по ночам, когда все спят. Я жду, пока за стеной стихнет скрип пера отца, пока Haggona потушит последнюю свечу на кухне. Тогда я достаю спрятанные листки и пишу при свете тлеющих углей. Буквы получаются корявыми, уголь пачкает пальцы, но я пишу.

Вот что я написал:

Ælc bearn sceal leornian rædan and wrītan. Nān bearn ne sceal bēon būtan scole. «Каждый ребёнок должен учиться читать и писать. Ни один ребёнок не должен быть без школы».

Когда я писал это, я думал о мальчике, сыне кузнеца, который ковырялся в грязи у колодца. У него были такие же руки, как у меня. Такие же глаза. Он мог бы читать. Он мог бы считать. Но он не мог. И я чувствовал такую тоску, такую острую, почти физическую боль под ребрами, что мне пришлось остановиться и сжать зубы, чтобы не завыть в голос.

Ælc mann sceal habban clāne wæter. Nān mann ne sceal drincan fūl wæter. «Каждый человек должен иметь чистую воду. Ни один человек не должен пить грязную воду».

Ælc mann þe cann tæcan sceal tæcan. Nān mann ne sceal bēon būtan tæcere. «Каждый человек, который может учить, должен учить. Ни один человек не должен быть без учителя».

Sē þe tæcan cann, nimð gafol fram cyninge. Sē þe leornian cann, nimð gafol fram cyninge. Sē þe ne cann ne leornian ne tæcan, ne nimð nānes gafoles. «Тот, кто учить может, получает плату от

короля. Тот, кто учиться может, получает плату от короля. Тот, кто не может ни учиться, ни учить, не получает никакой платы».

Я перечитываю это и думаю: «Это не безумие. Это просто. Это возможно». Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, кто это сделает. Но я знаю, что это должно быть. И от этого знания у меня внутри всё горит. Я чувствую себя одиноким, как будто стою на вершине холма, а вокруг — туман, и никто меня не слышит. Но я всё равно кричу. Тихо, на листке.

* * *

IV

Мне пятнадцать. Я знаю больше, чем знал в девять. Я знаю, как вести учёт, как судить, как собирать налоги. Я знаю, как драться мечом и как говорить с людьми. Я знаю, что мир устроен несправедливо. Я знаю, что это можно изменить.

Но я не знаю, как. Я не знаю, с чего начать. Я не знаю, кто мне поможет. Я смотрю на отца — он тэн, он уважаем, он управляет землёй. Но он не хочет менять мир. Он хочет, чтобы мир оставался таким, какой он есть. Он боится перемен. Я вижу этот страх в его глазах, когда он смотрит на мои записи. Он думает, что если всё оставить как есть — ничего плохого не случится.

Я смотрю на мать — она умнее отца, она читает больше, она думает глубже. Но она тоже не хочет менять мир. Она хочет, чтобы я стал тэном, как отец. Она хочет, чтобы я управлял землёй, как отец. Она хочет, чтобы я был таким, как они. Она смотрит на меня с любовью и не понимает, что этой любовью она меня душит.

Я не хочу быть таким, как они. Я хочу большего. Я хочу, чтобы мир был другим. Я хочу, чтобы крестьянин не падал без сознания в середину летнего дня. Я хочу, чтобы кузнец пил чистую воду. Я хочу, чтобы дети учились читать. Я хочу, чтобы люди не умирали от поноса. Я хочу, чтобы все знали, что можно иначе.

Иногда я чувствую такую тоску, что мне кажется, будто я задыхаюсь. Я выхожу во двор, смотрю на поле, на лес, на небо — и мне хочется кричать. Просто кричать, чтобы выпустить это наружу. Но я молчу. Я знаю: если я закричу, никто не поймёт. Меня назовут странным. Меня назовут безумцем.

Я не знаю, как это сделать. Но я знаю, что сделаю. Когда-нибудь. Когда у меня будет власть. Когда у меня будет армия. Когда у меня будет бумага.

Я прячу свои записи в сундуке. Я знаю, что родители не найдут. Они не читают то, что я пишу. Они читают только то, что я им показываю.

Однажды я покажу им всё. Но не сейчас. Сейчас я ещё ребёнок. Сейчас я ещё учусь. Сейчас я ещё жду.

Я смотрю на дым над Винчестером. Он поднимается к небу — серый, тяжёлый. Я думаю: «Этот дым — не конец. Это начало. Когда-нибудь я зажгу свой дым. И он будет пахнуть не страхом, а свободой».

Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Боль отрезвляет. Я знаю, что ждать придётся долго. Но я умею ждать. Я умею считать. И я знаю, что за каждым числом стоит человек. И за каждого из них я когда-нибудь отвечу.

Часть 5: Мясо

* * *

I

Мне шестнадцать. Отец говорит: «Мы едем к королю». Я не хочу. Но не спорю. Я никогда не был у короля. Я видел его один раз — на поле, после битвы, но тогда я был ребёнком. Теперь я почти взрослый. Отец говорит: «Ты покажешь, чему научился». Мать говорит: «Надень лучшее». Я надеваю лучшее — шерстяную рубаху, которую она сама выткала, и штаны, которые не жмут. Я смотрю в зеркало — маленькое, медное, мутное. Я вижу не себя, а кого-то другого. Кого-то, кто должен понравиться королю.

Дорога занимает два часа. Мы живём в Винчестере, как и король, но его дворец — на другом конце города, за стеной, за воротами, которые я видел только издалека. Мы идём пешком — не потому, что у нас нет лошадей, а потому, что отец говорит: «Пешком — скромнее». Я не понимаю, зачем скромнее. Я хочу ехать. Но я молчу.

Мы идём через нижний город — тот, который я вижу каждый день из окна, но куда редко спускаюсь. Улица узкая, мощённая битым камнем, но между камнями — лужи. Не дождевые. Другие. Они пахнут мочой и гнилой соломой. Я стараюсь не наступать в них, но отец идёт прямо. Он привык.

У стены сидит старик. У него нет ног — только культи, обмотанные грязными тряпками. Он протягивает руку. Отец даёт ему монету. Старик кивает, но не смотрит. Я смотрю на его руки. На пальцах — кровь. Он чешется. Постоянно. Как монахи в школе. Как кузнец у бочки. Я думаю: «Он чешется, потому что грязный. Он грязный, потому что не может мыться. Он не может мыться, потому что у него нет ног. У него нет ног, потому что...» Я не знаю почему. Я не спрашиваю.

Мимо проходит женщина с ребёнком на руках. Ребёнок плачет — тонко, надрывно. Женщина шикает на него, но не останавливается. У неё на лице — усталость. Не злость. Просто усталость. Я смотрю на ребёнка. У него на щеке — сыпь. Красная, мокрая. Я думаю: «Это от воды. От грязной воды. Если бы она кипятила...» Я обрываю себя. Я знаю, что она не кипятит. Не потому, что не хочет. Потому что не знает. Потому что никто ей не сказал. Потому что она родилась не у тэна.

Мы проходим мимо колодца. Там очередь — женщины с вёдрами, дети с кувшинами. Вода в колодце мутная, с плавающими листьями. Я вижу, как одна женщина зачерпывает ведро и пьёт прямо оттуда. Большими глотками. Жадно. Я думаю: «Она пьёт заразу. Она не знает. Она привыкла». Я вспоминаю кузнеца, который предлагал мне воду из бочки. Я вспоминаю, как отец сказал: «Болит. Он просто привык».

Мы идём дальше. Я смотрю на дома. Они низкие, соломенные, с протекающими крышами. Из окон — идёт дым. Пахнет горелой шерстью и кислым. У одного дома на пороге сидит мальчик. Он держит в руках палку и что-то чертит на земле. Я подхожу ближе. Он чертит буквы. Неправильно. Криво. Но буквы. Я думаю: «Он хочет учиться. Ему не дают. Он чертит палкой на земле, потому что у него нет восковой таблички. Потому что он родился не у тэна».

Я иду дальше. Я чувствую, как внутри меня что-то сжимается. Не жалость. Жалость — это когда ты смотришь сверху вниз. Я чувствую ярость. Ярость от того, что я вижу всё это каждый день и ничего не могу сделать. Ярость от того, что я иду во дворец, где будет вино и мясо, а эти люди останутся здесь — с грязной водой, с сыпью, с культями.

Отец молчит. Он не смотрит по сторонам. Он смотрит прямо перед собой. Я думаю: «Он привык. Он не видит. Или не хочет видеть».

* * *

II

Дворец пахнет не так, как наш дом. Наш дом пахнет кипячёной водой, шерстью, дымом от очага. Дворец пахнет воском, ладаном, жареным мясом и потом. Много пота. Слуги бегают, носятся, кланяются. Я стою в дверях и не знаю, куда деть руки.

Нас ведут в зал. Длинный стол, на нём — блюда. Я никогда не видел столько еды. Мясо — не солёное, не вяленое, а свежее, с кровью. Хлеб — не чёрствый, а мягкий, тёплый. Вино — не разбавленное, а густое, тёмное. Я беру кусок мяса и кладу в рот. Оно тает. Я закрываю глаза. Я думаю: «Почему у нас дома так не готовят?» Я не спрашиваю вслух.

Родители садятся рядом с королём. Я — в конце стола, с детьми. Их двое: Хильда и Торн. Хильде лет четырнадцать, Торну — двенадцать. Они смотрят на меня, как на что-то странное. Я смотрю на них так же.

Сначала мы молчим. Потом Торн говорит:

— Ты умеешь драться?

— Умею, — говорю я. — Немного.

— Покажи.

Я показываю — не мечом, а руками. Блок, удар, захват. Торн повторяет. У него получается плохо. Он злится. Я говорю:

— Ты слишком сильно держишь запястье. Расслабь.

Он пробует снова. Получается лучше. Он улыбается. Впервые.

— А ты умеешь считать? — спрашивает он.

— Умею.

— А до скольких?

— До любого.

Он не верит. Я считаю до тысячи. Он слушает. Потом говорит:

— А зачем так много?

— Чтобы знать, сколько у тебя есть.

Он кивает. Он не понимает. Но ему интересно. Я вижу, что он не злой. Он просто ребёнок. Как и я. Просто другой.

Хильда смотрит на нас. Потом говорит:

— А я умею вышивать.

— Покажи, — говорю я.

Она показывает — платок с узором. Птицы, цветы. Красиво. Я говорю:

— Красиво.

— Правда? — Она удивляется. — Мне никто не говорит, что красиво. Говорят: «Должно быть ровнее».

— А зачем ровнее? — спрашиваю я. — Птицы же не ровные. Они летают.

Она смеётся. Не так, как раньше — не зло. По-настоящему. Потом говорит:

— Ты странный.

— Знаю.

Она не обижается. Она просто говорит то, что думает. Я тоже.

Потом мы говорим о лошадях. О том, какие они бывают — быстрые, медленные, злые, спокойные. Торн говорит, что у него есть пони. Хильда говорит, что пони — для детей. Торн обижается. Я говорю, что пони — это тоже лошадь, просто маленькая. Торн соглашается. Хильда закатывает глаза.

Потом мы говорим о еде. О том, какая еда самая вкусная. Торн говорит — мясо. Хильда говорит — мёд. Я говорю — хлеб. Они удивляются. Я объясняю: «Хлеб — это не просто еда. Это то, что остается, когда всё остальное съедено. Если у тебя есть хлеб, ты не умрёшь». Они молчат. Потом Торн говорит:

— А у нас всегда есть хлеб.

— Знаю, — говорю я. — У вас — всегда.

Они не понимают. Но они не смеются. Они просто слушают. И это — уже что-то.

* * *

III

Отец зовёт меня. Я встаю, иду к королю. Альфред смотрит на меня. У него усталые глаза. Он говорит:

— Покажи, что умеешь.

Я показываю. Я пишу на родном языке — быстро, чётко, без ошибок. Я считаю в уме — большие числа, сложные дроби. Я цитирую законы — не по памяти, а по смыслу. Король кивает. Он говорит:

— *Þū bist mīn yrfe.*

— «Ты станешь моим наследием».

Я смотрю на него. Я хочу сказать: «Почему вы позволяете крестьянам пить грязную воду? Почему они не могут читать? Почему это несправедливо?» Я открываю рот. Но я боюсь. Я боюсь, что он рассердится. Я боюсь, что он накажет отца. Я боюсь, что он прогонит меня. Я закрываю рот. Я кланяюсь. Я говорю:

— Благодарю, мой король.

Он улыбается. Он не знает, что я хотел сказать. Он думает, что я — хороший мальчик. Я ненавижу себя за то, что я — хороший мальчик.

* * *

IV

Дома я не выдерживаю. Я говорю отцу:

— Почему мы живём так богато, а крестьяне так бедно?

Отец смотрит на меня. Он устал. Он говорит:

— Потому что мы — тэны. Мы управляем. Они работают.

— Но почему они не могут читать? Почему они пьют грязную воду?

— Потому что так устроено.

— Кем устроено?

— Богом.

— Это не Бог, — говорю я. — Это люди. Это вы. Это ты. Ты отобрал хлеб у крестьянина, потому что он не сдал налог. А он не сдал, потому что его сын болел. Ты знал это?

Отец молчит. Потом говорит:

— Ты слишком много думаешь.

— Я не хочу быть таким, как ты, — говорю я.

Он бьёт меня по лицу. Не сильно — но достаточно, чтобы я замолчал. Мать говорит:

— В угол. Сейчас же.

Я иду в угол. Я стою. Я смотрю в стену. Я думаю: «Я не понял. Я не понял, почему они такие. Я не понял, почему мир такой. Я не понял, почему я должен молчать». Через полчаса я говорю:

— Я понял.

Я вру. Я не понял. Я никогда не пойму.

* * *

V

Ночью я не сплю. Я лежу на матрасе из перьев и смотрю в потолок. Я думаю: «Я не могу здесь остаться. Я не могу быть таким, как они. Я не могу молчать». Я встаю. Я беру сундук — тот самый, где прячу записи. Я открываю окно. Я вылезаю. Я иду в лес.

Лес пахнет не так, как дворец. Он пахнет землёй, листьями, дождём. Я иду, пока не начинают болеть ноги. Я сажусь под дерево. Я открываю сундук. Я читаю свои записи. Я думаю: «Я не безумный. Я просто вижу то, чего они не видят. Я один. Но я не безумный».

Я плачу. Не потому, что мне больно — потому, что я один. Я ненавижу мир. Я ненавижу родителей. Я ненавижу короля. Я ненавижу Хильду и Торна. Я ненавижу себя за то, что не сказал то, что хотел. Я ненавижу себя за то, что боюсь.

Я живу в лесу два дня. Я ем ягоды, пью из ручья — сырую, потому что не могу кипятить. Я думаю: «Вот как они живут. Вот почему они болеют. Вот почему они умирают». Я не болею — пока. Но я знаю, что могу заболеть. Я знаю, что могу умереть. Я не боюсь. Я думаю: «Если я умру, то умру свободным».

На второй день приходит отец. Он находит меня под тем же деревом. Он не кричит. Он садится рядом. Он говорит:

— Ты глупый.

— Знаю.

— Ты мог умереть.

— Знаю.

— Почему ты ушёл?

Я молчу. Потом говорю:

— Потому что я не могу там жить.

Он смотрит на меня. Долго. Потом говорит:

— Ты не можешь жить там, потому что ты не такой, как мы. Ты другой. Я не знаю, почему. Но ты другой. И это не плохо. Это просто... другое.

Он встаёт. Он говорит:

— Пойдём домой.

Я иду. Я не знаю, что будет дальше. Я знаю только одно: я не сдамся. Я не стану таким, как они. Я найду способ. Я изменю мир. Не сейчас. Но когда-нибудь.

Я иду домой. Я молчу. Я смотрю на дым над Винчестером. Он поднимается к небу — серый, тяжёлый. Я думаю: «Этот дым — не конец. Это начало. Когда-нибудь я зажгу свой дым. И он будет пахнуть не страхом, а свободой».

Я записываю это. Тайно. И прячу в сундук.

Часть 6: кузнец

I

Я собирал их два года.

Не потому, что был терпеливым. Потому что иначе было нельзя. В Уэссексе 890-го года тридцать человек не собираются за один вечер. Тридцать человек — это тридцать ртов. Тридцать ртов — это тридцать возможностей проговориться. Один случайный слух, одно неосторожное слово в таверне, один взгляд в сторону, когда кто-то говорит «король», — и всё кончено. Тебя повесят на ближайшем дереве, а твоих людей — на следующих.

Я знал это. Я читал законы. Я знал, что за измену — смерть. Не просто смерть — позорная смерть. Тебя выволокут на площадь, протащат по грязи, и любой сможет плюнуть в тебя, прежде чем палач сделает своё дело. Я видел это один раз, в детстве. Мне было девять. Я стоял в толпе и смотрел, как вешают человека, который говорил, что король несправедлив. Его звали Эдрик. Он был кузнецом. У него было трое детей. Он кричал, что он прав. Никто не слушал.

Я помнил его лицо. Я помнил, как дёргались его ноги. Я помнил, как его жена стояла в толпе и молчала. Она не плакала. Она просто смотрела. И это было хуже слёз.

Я не хотел, чтобы моя мать так смотрела. Я не хотел, чтобы мой отец так смотрел. Поэтому я собирал медленно. Очень медленно.

Сначала я составил список. Не на бумаге — в голове. Бумага — это улика. Бумагу можно найти. Бумагу можно прочитать. Бумагу можно использовать против тебя. Я держал список в голове, как держат в голове молитву: повторял его каждую ночь, перед сном, чтобы не забыть ни одного имени.

В списке было не тридцать имён. В списке было больше. Я знал, что не все согласятся. Я знал, что некоторые откажутся. Я знал, что некоторые донесут. Поэтому я искал не просто недовольных. Я искал тех, кто умеет молчать. Тех, кто умеет ждать. Тех, у кого есть причина, по которой они не пойдут к священнику или к шерифу.

Причина должна быть личной. Не абстрактной. Не «король плохой». А «король забрал у меня брата», «шейриф избил мою мать», «сборщик налогов сжёг мой дом». Личная причина — это то, что держит человека крепче любой клятвы. Потому что личную причину нельзя забыть. Её нельзя простить. Её нельзя отменить указом.

* * *

II

Первым я нашёл не Сига. Первым я нашёл Оду.

Ода была вдовой. Ей было сорок — по тем временам старуха. Она жила на краю деревни, в доме, который её муж построил своими руками, а потом умер, оставив её с двумя дочерьми

и долгом сборщику налогов. Долг был небольшой — три пенни. Но проценты росли. Через год долг стал пять пенни. Через два — восемь. Через три — двенадцать. Она платила. Она платила всем, что у неё было. Она продала корову. Она продала инструменты мужа. Она продала даже медный котёл, в котором варила похлёбку.

Когда я пришёл к ней, она варила похлёбку в глиняном горшке. Горшок был старый, с трещиной. Похлёбка была жидкая — вода, репа, немного овса. Она предложила мне поесть. Я отказался. Я не мог есть её еду. Я знал, что это всё, что у неё есть.

Я сказал:

— Я знаю, что ты платишь сборщику.

Она посмотрела на меня. Она не удивилась. Она не испугалась. Она просто посмотрела.

— Все платят, — сказала она.

— Не все. Тэны не платят.

— Тэны — это тэны.

— А ты — кто?

Она помолчала. Потом сказала:

— Я — никто.

Я достал листок. Тот самый, из сундука. Я прочитал ей вслух. О чистой воде. О школах. О том, что каждый ребёнок должен учиться читать и писать. О том, что ни один человек не должен быть без учителя.

Она слушала. Не перебивала. Когда я закончил, она сказала:

— Это красиво.

— Это не красиво, — сказал я. — Это правда.

— Правда, — сказала она. — Красивая правда. Как сказка.

— Это не сказка, — сказал я. — Это можно сделать.

Она посмотрела на меня. Долго. Потом сказала:

— Ты — сын тэна.

— Да.

— Зачем тебе это?

Я не ответил сразу. Я думал. Я знал, что если совру — она почувствует. Она была старой. Она видела много лжи. Она знала, как звучит ложь.

— Потому что я видел, как умирают люди, — сказал я. — И я знаю, что это можно остановить. Не всех. Но многих. Тех, кто умирает от воды. От голода. От того, что не умеет читать законы.

Она молчала. Потом сказала:

— У меня две дочери. Они не умеют читать.

— Я знаю.

— Они никогда не будут уметь читать.

— Будут, — сказал я. — Если мы это сделаем.

Она посмотрела на меня. И я увидел в её глазах что-то, чего не видел раньше. Не надежду. Надежда — это для молодых. У неё было что-то другое. Усталость. Усталость от того, что она ждала слишком долго.

— Я не умею драться, — сказала она.

— Мне не нужны те, кто умеет драться, — сказал я. — Мне нужны те, кто умеет молчать.

Она кивнула. Потом сказала:

— Я умею молчать.

Она стала первой. Она не принимала участия в штурме. Она не держала оружия. Но она была нужна. Она знала всех в деревне. Она знала, кто недоволен. Она знала, кто может донести. Она была моими глазами и ушами. Она была первой, потому что без неё я не смог бы найти остальных.

* * *

III

Вторым был Эдрик — не тот, которого повесили, а его сын. Тоже Эдрик. Ему было двадцать пять. Он работал в поле, но у него были руки кузнеца — широкие, сильные, с обожжёнными пальцами. Он не пошёл в кузнецы, потому что после смерти отца его семья потеряла всё. Землю забрали. Дом сожгли. Он жил в сарае у дальнего родственника и работал за еду.

Я нашёл его на поле. Он пахал — медленно, устало, с опущенными плечами. Я подошёл. Я не стал говорить сразу. Я взял вторую лошадь и пошёл рядом. Мы пахали вместе два часа. Молча. Он не спрашивал, кто я. Он не спрашивал, зачем я здесь. Он просто пахал.

Когда мы закончили, он сказал:

— Ты не крестьянин.

— Нет.

— Ты тэн.

— Да.

— Зачем ты пахал?

— Чтобы поговорить.

Он посмотрел на меня. Он не удивился. Он ждал.

Я рассказал ему про отца. Про то, как его повесили. Про то, как он кричал, что он прав. Про то, как его жена стояла в толпе и молчала.

Он слушал. Потом сказал:

— Я помню.

— Ты был там?

— Я был рядом. Мне было двенадцать. Меня держал сосед. Я хотел броситься. Он не пустил.

— Почему?

— Потому что меня бы тоже повесили. А тогда некому было бы мстить.

Я посмотрел на него. Он смотрел на меня. Мы поняли друг друга без слов.

— Я не хочу мести, — сказал я.

— Я тоже, — сказал он. — Я хочу, чтобы это больше никогда не случилось.

— Я тоже.

Он кивнул. Потом сказал:

— Что я должен делать?

— Ждать, — сказал я. — И молчать. И искать таких, как ты.

Он стал вторым. Он знал всех в округе — кто недоволен, кто потерял близких, кто ненавидит сборщиков. Он не говорил лишнего. Он просто слушал и запоминал. Через месяц он привёл мне троих. Через два — шестерых. Через полгода — двенадцать.

* * *

IV

Сиг был из третьих. Но он был особенным.

Его звали Sigewulf, но все звали Сигом. Двадцать два года, сын кузнеца из деревни за стеной. Широкие плечи, обожжённые руки, привычка смотреть в землю, когда говорит. Его мать умерла, когда ему было двенадцать — сборщик налогов ударил её по голове за то, что она не отдала последний мешок зерна. Она упала, ударилась о край очага и не встала. Сборщик сказал: «Сама виновата». И ушёл.

Сиг не мстил. Он ждал.

Я пришёл к нему в кузницу. Он ковал наконечники для стрел — не для войны, для охоты. Он не поднял головы, когда я вошёл. Он просто сказал:

— Если ты пришёл за мечом, у меня нет. Если за ножом — есть. Три пенни.

— Я пришёл не за ножом, — сказал я.

Он поднял голову. Посмотрел на меня. Долго. Потом положил молот.

— Я знаю, кто ты, — сказал он.

— Знаешь?

— Сын тэна. Тот, кто пишет на воске. Тот, кто ходит по деревням и читает листки.

— И ты не донёс?

— Зачем?

— За награду.

Он усмехнулся. Не зло. Просто усмехнулся.

— Награда от короля, который убил мою мать? — сказал он. — Нет. Я не донесу.

Я сел на скамью. Он сел напротив. Мы молчали. Потом я прочитал ему свой листок о чистой воде. Он слушал, не перебивая. Потом сказал:

— Я не хочу мести.

— Я тоже, — сказал я.

— Я хочу, чтобы это больше никогда не случилось.

— Я тоже.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом сказал:

— Тогда я с тобой.

Он не спрашивал, что мы будем делать. Он не спрашивал, когда. Он просто сказал «я с тобой» — и с этого момента был рядом. Всегда. В кузнице, где мы ковали наконечники. На рынке, где мы считали людей. В лесу, где мы тренировались ходить бесшумно.

Сиг не говорил лишнего. Он делал.

* * *

V

Я не вербовал всех подряд. Я искал по трём критериям. Первый — личная причина. Не абстрактная, а конкретная. Второй — умение молчать. Не просто «я никому не скажу» — а способность держать язык за зубами даже под угрозой. Третий — полезность. Каждый должен был уметь что-то, чего не умели другие.

Ода знала людей. Эдрик знал оружие. Сиг знал ремесло. Мне нужны были и другие. Мне нужен был тот, кто знает дворец. Мне нужен был тот, кто знает стражу. Мне нужен был тот, кто знает, где хранится оружие.

Я нашёл Хродгара на рынке. Он был мясником. У него были руки в крови — не потому, что он убивал людей, а потому, что он разделывал туши. Он знал всех, кто покупал мясо для дворца. Он знал повара. Он знал, когда привозят еду, когда её готовят, когда её подают. Он знал, что стражники едят первыми — и что после еды они становятся медленными.

Я подошёл к нему, когда он разделывал свиную тушу. Я сказал:

— Мне нужен человек, который знает дворец.

Он не остановился. Он продолжал резать. Потом сказал:

— Зачем?

— Чтобы войти.

Он остановился. Посмотрел на меня.

— Ты безумен.

— Может быть.

— Тебя повесят.

— Может быть.

Он помолчал. Потом сказал:

— У меня брат работает на кухне. Он носит воду. Он знает, где колодец, где кладовая, где спит стража.

— Он может нам помочь?

— Он может рассказать. Больше — нет. Он боится.

— Мне достаточно рассказа.

Хродгар кивнул. Он не сказал «я с тобой». Он просто сказал:

— Я спрошу.

Через неделю он принёс ответ. Его брат согласился рассказать. Не участвовать — рассказать. Этого было достаточно.

* * *

VI

Я не говорил с людьми напрямую. Я говорил через посредников.

Это было медленно. Это было утомительно. Но это было безопасно. Если один человек знал только одного — он не мог выдать всех. Если его брали стражники — он мог выдать только того, кто его привёл. А тот, кто его привёл, знал только того, кто привёл его. Цепочка обрывалась. Я оставался в тени.

Ода знала Эдрика. Эдрик знал Сига. Сиг знал Хродгара. Хродгар знал своего брата. Я знал всех — но все знали только одного. Кроме Сига. Сиг знал всех, потому что он был моей правой рукой. Он был единственным, кто знал полную картину. Я доверял ему больше, чем себе.

Мы встречались в разных местах. Никогда в одном и том же. Никогда в одно и то же время. В лесу, на поляне, где никто не ходил. В заброшенной церкви, где не было священника. В сарае, который принадлежал Оде. В кузнице Сига, после заката, когда все спали.

Мы не писали. Мы говорили. Шёпотом. Коротко. По делу. Никаких имён — только «он», «тот», «человек с рынка». Никаких дат — только «когда луна будет полной», «когда стража сменится». Никаких планов на бумаге — только в голове.

Я учил их этому. Я говорил: «Если тебя возьмут — не говори ничего. Не признавайся. Не называй имён. Они могут пытать. Они могут убить. Но если ты промолчишь — ты спасёшь остальных. Если ты заговоришь — ты убьёшь всех».

Они кивали. Они понимали. Они знали, на что шли.

* * *

VII

Первый год ушёл на поиск. Я нашёл двенадцать человек. Не все были надёжными. Двое отказались в последний момент. Один — донёс. Не на меня — на Эдрика. Эдрика взяли стражники, избили, бросили в яму. Он выжил. Он не сказал ничего. Он вышел через месяц — худой, сломленный, но живой. Он не сказал ни слова упрёка. Он просто сказал: «Я всё ещё с тобой».

Того, кто донёс, я нашёл через неделю. Я не убил его. Я не мог. Я просто сказал ему: «Уходи. И не возвращайся». Он ушёл. Я не знаю, куда. Я не хотел знать.

Второй год ушёл на подготовку. Я искал оружие. Не мечи — их было мало, и они стоили дорого. Топоры, ножи, копья, луки. Всё, что можно было найти в деревнях. Всё, что можно было спрятать в лесу. Всё, что можно было использовать в темноте, в тесноте, в дыму.

Сиг ковал наконечники. Эдрик точил ножи. Хродгар доставал мясо — не для еды, для отвлечения стражников. Ода шила мешки — для того, чтобы носить оружие, чтобы не звенело. Я считал. Я всегда считал. Сколько людей. Сколько оружия. Сколько времени. Сколько шагов от стены до ворот. Сколько вдохов от ворот до зала. Сколько ударов нужно, чтобы сломать дверь.

Я не спал. Я не мог. Я лежал на матрасе из перьев, смотрел в потолок и считал. Я считал так, как учил меня отец. Я считал всё. Я считал до тех пор, пока числа не начинали путаться в голове. Тогда я вставал, выходил во двор, смотрел на звёзды и считал их. Их было больше. Их было слишком много. Я сбивался и начинал заново.

* * *

VIII

Нас стало тридцать. Не сразу — постепенно. Двадцать крестьян. Десять тэнов. Не тех тэнов, которые управляли землёй и собирали налоги. Тех, кто потерял всё. Тех, у кого отобрали землю за долги. Тех, чьи семьи умерли от голода. Тех, кто ненавидел короля не потому, что он был плохим, а потому, что он был равнодушным.

Я не говорил им, что мы будем делать. Я говорил только то, что нужно было знать. Когда. Где. Сколько. Они не спрашивали. Они знали, что если я не говорю — значит, мне нельзя говорить. Они доверяли мне. Не потому, что я был умным. Не потому, что я был тэном. Потому, что я был единственным, кто говорил вслух то, что они думали про себя.

Они приходили ко мне по одному. В темноте. Шёпотом. Они говорили: «Я с тобой». И я кивал. И запоминал их лица. И запоминал их имена. И запоминал их причины.

Ода. Эдрик. Сиг. Хродгар. Ухтред. Beophtwulf. И ещё двадцать четыре. Я знал их всех. Я знал, у кого больная мать. Я знал, у кого умер сын. Я знал, кто пьёт, чтобы забыть. Я знал, кто не пьёт, чтобы помнить. Я знал их лучше, чем они знали себя. Потому что я слушал. Я всегда слушал.

* * *

IX

Двадцатое октября 891 года. Ночь. Луны нет — только звёзды и холод.

Мы собрались в лесу, за час до полуночи. Тридцать человек. Молча. Без огня. Без факелов. Только звёзды и холод.

Я стоял перед ними. Я смотрел на их лица. Я знал каждое. Я знал, что некоторые из них не вернутся. Я знал, что некоторые умрут сегодня. Я знал, что я не могу их спасти. Я мог только вести их.

Я сказал:

— Вы знаете, зачем мы здесь.

Они кивнули. Молча.

— Вы знаете, что будет, если мы проиграем.

Они кивнули снова.

— Я не обещаю вам победы. Я не обещаю вам жизни. Я обещаю только одно: если мы победим — мир изменится. Вода будет чистой. Дети будут учиться. Люди не будут умирать от голода. Тэны не будут отбирать последний хлеб. Это будет не завтра. Это будет не через год. Но это будет.

Я помолчал. Потом сказал:

— Кто хочет уйти — уходите сейчас. Я не буду вас винить. Я не буду вас искать. Я не буду вас ненавидеть. Уходите.

Никто не ушёл.

Я кивнул. Потом сказал:

— Тогда мы начинаем.

Сиг стоял рядом. Он не говорил. Он просто стоял. Я знал, что он пойдёт за мной. Я знал, что он не отступит. Я знал, что он умрёт, если нужно. Я не хотел, чтобы он умирал. Но я знал, что не могу его остановить.

Я повернулся к стене. Я смотрел на неё. Она была высокой, тёмной, холодной. За ней — дворец. За дворцом — король. За королём — мир, который я хотел изменить.

Я сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Потом ещё.

Мы пошли.

Часть 7: начало

I

Мы ждали в темноте.

Не на открытом месте — в канаве, что шла вдоль восточной стены, заросшей ежевикой. Земля здесь была сырая, пропитанная водой и гниющими листьями. От канавы поднимался

тяжелый запах тины и нечистот — туда сливали помои из ближайших домов. Мы лежали в этой жиже уже больше часа. Холод пробирался под шерстяные плащи, сковывал мышцы, заставлял дрожать. Но никто не шевелился. Никто не издавал ни звука.

Тридцать человек. Двадцать крестьян, десять тэнов. Я лежал в середине, между Сигом и Эдриком. Я чувствовал, как от меня пахнет потом, грязью и страхом. От всех пахло одинаково. Страх в Уэссексе пахнет кислым потом и желчью.

Над нами было черное небо, безлунное, усыпанное звездами. Я смотрел на них и считал. Я всегда считал, когда было страшно. Одна звезда. Две. Три. Четыре. Пять. Я сбился на двадцатой. Я не мог сосредоточиться. Мое сердце билось где-то в горле, так сильно, что казалось, его стук слышно за стеной.

Я сжал рукоять отцовского меча. Меч был старый, тяжелый, с потертой кожаной обмоткой. Рукоять была скользкой от пота. Я вытер ладонь о штаны. Потом снова сжал.

Мы ждали смены стражи. Сиг сказал, что она меняется в полночь. Он три месяца носил еду повару на кухню, чтобы узнать это. Повар был старый, глухой и вечно голодный. Сиг приносил ему вяленое мясо и хлеб. Повар брал, благодарил и болтал. Он болтал о том, что стражники меняются в полночь, что двое уходят спать, а двое остаются, что после смены они всегда идут греться в караулку и пьют эль. Он не думал, что это важно. Для него это было просто частью жизни. Для нас это было расписанием смерти.

Я слышал, как справа от меня кто-то молится. Тихо, одними губами. Я не знал кто. Я не хотел знать. Я смотрел на стену.

Стена была сложена из грубого камня, темного от времени и влаги. Она была высотой в три человеческих роста. Сверху торчали деревянные колья. На кольях висели клочья старой одежды и что-то бурое, похожее на засохшую кровь. Я не думал, чья это кровь. Я не хотел об этом думать.

Ветер принес запах дыма. Где-то в городе топили печь. Обычный запах. Мирный. Я подумал о матери. Она сейчас сидит у очага и читает молитвы. Она не знает, где я. Она думает, что я в лесу. Она думает, что я вернусь утром. Я не знал, вернусь ли я утром.

Где-то вдалеке залаяла собака. Один раз. Коротко. Потом затихла. Мы все напряглись. Я почувствовал, как рука Сига легла мне на плечо. Он сжал. Я кивнул в темноту. Мы ждали.

Послышались шаги. Тяжелые, размеренные шаги по каменным ступеням. Двое стражников спускались со стены. Они о чем-то переговаривались. Их голоса были сонными. Один из них зевал. Я слышал, как он зевает — долго, с хрипом. Потом они прошли мимо нашей канавы. В десяти шагах. Они не смотрели в нашу сторону. Они смотрели прямо перед собой. Они думали о тепле, об эле, о сне.

Я задержал дыхание. Они прошли. Шаги стихли за углом.

На стену поднялись двое других. Они встали на свои места. Один из них прислонился к стене и, кажется, начал дремать. Я видел его силуэт на фоне неба. Он был неподвижен.

Сиг поднял руку. Медленно, очень медленно. Я увидел этот жест в темноте. Я знал, что остальные тоже его увидели. Мы ждали этого.

Я поднялся на колени. Мои суставы хрустнули. Я почувствовал, как грязь канавы стекает по моим штанам. Я вытащил меч. Он был тяжелым. Он был холодным. Я посмотрел на его лезвие. В темноте оно казалось черным.

Мы пошли.

Не бегом. Медленно, пригнувшись. Как тени. Как звери. Мы пересекли открытое пространство перед стеной. Оно казалось огромным. Каждый шаг отдавался в ушах грохотом. Я чувствовал под ногами землю, камни, ветки. Я боялся наступить на сухую ветку. Я боялся, что она треснет. Я боялся, что стражник на стене услышит.

Мы дошли до ворот. Ворота были деревянные, обитые железом. Они были заперты изнутри. Но рядом с воротами была калитка. Маленькая, низкая. Для слуг. Она была приот-

крыта. Сиг смазал ее петли днем, когда носил еду повару. Он использовал свиной жир. Он сказал, что петли не будут скрипеть. Он был прав.

Сиг подошел к калитке первым. Он толкнул ее. Она открылась беззвучно. Он проскользнул внутрь. Я пошел за ним. Эдрик за мной. Остальные следовали.

II

Во дворе было темно. Только факелы у стен отбрасывали неровный, дрожащий свет. Я увидел два силуэта у ворот. Это была стража. Они стояли спиной к нам. Они смотрели в сторону главного зала. Они не смотрели в сторону калитки.

Сиг подошел к первому. Он двигался бесшумно. У него был нож. Длинный, узкий, кузнечной работы. Он подошел сзади. Он не торопился. Он выбрал момент. Он закрыл стражнику рот левой рукой. Правой он всадил нож под лопатку.

Я увидел, как стражник дернулся. Как его тело напряглось. Как он попытался поднять руки. Сиг держал его крепко. Он провернул нож в ране. Я услышал звук. Влажный, хлюпающий. Кровь хлынула на снег. Стражник обмяк. Сиг опустил его на землю. Медленно. Без стука.

Второй стражник стоял у факела. Он смотрел в другую сторону. Он ничего не слышал. Он ничего не видел. К нему подошли Ухтред и Beophtwulf. Ухтред был крестьянином. Он держал топор. Beophtwulf был тэном. У него был меч. Они не стали церемониться. Ухтред ударил топором. Он ударил по голове. Я услышал хруст. Как будто треснул орех. Стражник упал. Beophtwulf добил его. Он ударил мечом в грудь. Раз. Два. Три раза. Он бил с остервенением, как будто рубил дрова. Я видел, как кровь брызнула на его лицо. Он не вытер ее. Он стоял и смотрел на труп.

Я подошел к ним. Я сказал шепотом:

— Тихо.

Они кивнули. Они дышали тяжело. Ухтред дрожал. Его руки тряслись. Я взял его за плечо и сжал. Он посмотрел на меня. В его глазах был ужас. Я сказал:

— Дальше.

Мы пошли к главному залу.

Двор был пуст. Только факелы, только тени, только холод. Мы шли по каменным плитам. Они были скользкими от изморози. Я слышал, как за нами идут остальные. Я слышал их дыхание. Я слышал, как скрипит кожа на их сапогах.

Мы подошли к дверям зала. Двери были высокие, дубовые, обитые железом. Они были открыты. Внутри было темно. Только угли в очаге тлели красным. Пахло воском, жареным мясом, потом и перегаром.

Мы вошли.

В зале спали люди. Слуги на полу. Охранники на скамьях. Кто-то из знати за столом, уронив голову на руки. Они спали пьяным сном. Они не проснулись, когда мы вошли. Они не проснулись, когда мы подошли к ним.

Я стоял и смотрел на них. Я думал: «Они спят. Они не знают, что умрут. Они не знают, что я здесь». Я чувствовал, как во мне что-то сжимается. Не жалость. Что-то другое. Что-то холодное.

Я поднял меч.

Первый крик раздался, когда Ухтред ударил топором по голове спящего охранника. Крик был не его. Кричала женщина. Служанка. Она вышла из боковой двери с кувшином. Она увидела кровь. Она увидела нас. Она уронила кувшин. Кувшин разбился. Она закричала.

Все началось.

III

Я не помню всего.

Я помню вспышки. Я помню лица. Я помню, как мой меч входил в тело. Он не входил легко. Он входил с сопротивлением. Как будто резал сырое мясо. Я помню, как кровь брызнула

мне на руки. Она была горячей. Обжигающе горячей. Я помню, как она застывала на коже, липкая, как смола.

Я помню, как ко мне бросился охранник. Молодой. С копьем. Он не кричал. Он просто бежал на меня. Я стоял. Я не двигался. Я смотрел на него. Я видел, как он поднимает копье. Я видел его лицо. У него были светлые волосы и веснушки. Как у мальчишки с рынка. Я ударил. Я ударил мечом. Я попал ему в плечо. Он вскрикнул. Он выронил копье. Я ударил снова. Я попал ему в шею. Он упал. Он лежал и смотрел на меня. Его губы шевелились. Он что-то говорил. Я не слышал. Я добил его. Я ударил его в грудь. Он затих.

Я помню, как Сиг дрался с охранником. Охранник был большим. Он размахивал мечом. Он кричал. Сиг не кричал. Сиг уклонялся. Он был быстрым. Он был точным. Он ударил охранника ножом в живот. Охранник согнулся. Сиг ударил его ножом в спину. Охранник упал. Сиг посмотрел на меня. Он был в крови. Чужой крови. Он кивнул. Я кивнул. Мы пошли дальше.

Я помню, как двое крестьян выломали дверь в боковую комнату. Оттуда послышался женский визг. Потом звон. Потом тишина. Они вышли. Они были бледные. Они ничего не сказали. Я не спросил. Я знал.

Я помню, как Beophtwulf упал. Стрела попала ему в шею. Она вошла глубоко. Он упал на колени. Он схватился за стрелу. Он попытался ее вытащить. Но не смог. Кровь шла из его рта. Он смотрел на меня. Он хотел что-то сказать. Но не мог. Он умер. Я не остановился. Я не мог. Я должен был идти дальше.

Я помню, как мы поднялись на галерею. Там был стрелок. Молодой парень. Лет восемнадцать. Его руки дрожали. Он бросил лук. Он поднял руки. Он смотрел на нас. Он был в ужасе. Сиг посмотрел на меня. Я кивнул. Сиг ударил. Парень упал. Он упал на спину. Он смотрел в потолок. Он был еще жив. Он дышал. Хрипел. Сиг ударил его еще раз. Он затих.

Я помню, как нашел Хильду.

IV

Она выбежала из своей комнаты. В ночной рубахе. С растрепанными волосами. У нее в руке был факел. Она не кричала. Она смотрела на меня. Она меня узнала. Я видел, как в ее глазах что-то перевернулось. Она открыла рот. Она хотела что-то сказать. Может быть, она хотела сказать: «Ты?». Может быть, она хотела сказать: «Почему?». Я не знаю. Она не успела.

Ухтред ударил ее топором. Он ударил ее со спины. Он не видел, кто это. В темноте, в дыму, в криках — он просто ударил. Топор вошел ей в затылок. Она упала. Факел выпал из ее руки. Он покатился по полу. Он поджег ковер. Огонь вспыхнул.

Я стоял и смотрел на нее. Она лежала на полу. Ее кровь растекалась по камням. Я думал: «Она не злая. Она просто не знала. Ей никто не говорил. Она думала, что крестьяне — это мусор. Она думала, что так устроено. Я хотел изменить ее. Не убить. Изменить».

Я не заплакал. Я не мог. Я просто стоял.

Рядом со мной появился Торн. Он выбежал из той же комнаты. Он увидел сестру. Он увидел меня. Он увидел кровь. Он закричал. Не словами. Просто закричал. Он бросился на меня. Он был ребенком. Ему было двенадцать. Он бил меня кулаками. Он бил меня в грудь. Он плакал. Он кричал:

— Ты убил ее! Ты убил ее!

Я схватил его за руки. Я держал его. Он вырывался. Он был сильным. Он был в ярости. Я сказал:

— Уходи.

Он посмотрел на меня. Его лицо было в слезах. В крови Хильды. Я сказал:

— Уходи. Сейчас же.

Он вырвался. Он побежал. Он побежал вниз по лестнице. Он споткнулся о труп. Он упал. Он поднялся. Он побежал дальше. Я смотрел ему вслед. Я не остановил его. Я не знаю, почему.

Может быть, потому что он был ребенком. Может быть, потому что я был ребенком. Может быть, потому что я знал, что он вернется. И это будет правильно.

V

Спальня короля была в конце коридора. Дверь была дубовой, толстой, с железными полосами. Она была заперта изнутри.

Мы стучали. Мы кричали. Мы били топорами. Дверь держалась. Тогда Сиг принес скамью. Тяжелую, дубовую. Мы использовали ее как таран. Раз. Два. Три. Дверь треснула. Раз. Два. Три. Дверь сломалась.

Внутри было темно. Только свеча на столе. Почти догоревшая. Альфред сидел на кровати. Он не спал. Он смотрел на нас. Он был старый. Больной. Усталый. Он не испугался. Он сказал:

— *Þū bist mīn yrfe.*

— «Ты станешь моим наследием».

Я стоял и смотрел на него. Я думал: «Он знает. Он знал все это время. Он знал, что я приду. Он не боится. Почему он не боится?». Я не знал ответа. Я не хотел знать.

Я сказал Сигу:

— Солому. Масло. Факел.

Сиг принес. Мы навалили солому у двери. Облили маслом. Подожгли. Огонь занялся быстро. Слишком быстро. Мы вышли в коридор. Я закрыл дверь. Ту самую, сломанную. Я припер ее скамьей. Потом еще одной. Потом еще.

Из-за двери не было слышно крика. Только треск огня. Только дым. Густой, черный, тяжелый. Он пополз по коридору. Он заполнял все. Он ел глаза. Он ел горло.

Я стоял и смотрел на дверь. Я думал: «Он умер. Он умер, потому что я так решил. Я не знаю, правильно ли это. Я знаю только, что это было нужно». Я думал: «Это не конец. Это начало».

VI

Мы вышли во двор. Дым шел из окон. Из дверей. Из щелей. Черный, густой. Люди выбегали из горящего зала. Кричали. Падали. Кто-то пытался тушить. Ведрами. Водой из колодца. Но огонь был быстрее. Огонь всегда быстрее.

Я стоял во дворе. Я смотрел на огонь. Сиг стоял рядом. Он не говорил. Он просто стоял.

Я сказал:

— Мы сделали это.

Он сказал:

— Да.

— Мы изменим мир.

Он сказал:

— Да.

— Ты веришь мне?

Он посмотрел на меня. Долго. Потом сказал:

— Я верю не тебе. Я верю в то, что ты написал. В то, что вода может быть чистой. В то, что дети могут учиться. В то, что люди не должны умирать в десять лет. В то, что все равны. Я верю в это. А ты — тот, кто может это сделать. Поэтому я с тобой.

Я кивнул. Я не знал, что сказать. Я просто стоял и смотрел на огонь.

VII

Дым над Винчестером поднимался к небу. Черный. Тяжелый. Густой. Он пах не страхом. Он пах началом. Я смотрел на него и думал: «Этот дым запомнят. Не меня — дым. Дым, который поднялся над Винчестером в ночь, когда все изменилось».

Я повернулся к своим людям. Их осталось двадцать шесть. Четверо погибли. Я знал их имена. Я запомню их.

Я сказал:
— Мы начинаем.
И они ответили:
— Мы начинаем.

Глава Вторая

Часть 1: новый свет

* * *

I

Æron проснулся в 3:41.

Лежал на спине, смотрел в потолок и считал удары сердца. Сердце билось ровно, как молот по наковальне, — он привык к этому звуку за тридцать лет работы. Но сейчас он считал не для удовольствия. Он считал, чтобы не думать.

Потому что думать было не о чем. Завтра — заказ на восемь подков. Послезавтра — плуг для Ухтреда-старшего. Через неделю — ярмарка, надо наточить ножи, которые он откладывал месяц. Обычная жизнь. Обычный кузнец. Обычный Винчестер.

Он перевернулся на бок. Подушка пахла шерстью и дымом. Матрас был из соломы — он не мог позволить себе перья, как тэны. Он не жаловался. Солома была мягче, чем земля. На земле тоже можно спать. Он пробовал.

Стук в дверь был резким, как удар по железу.

Æron сел. В темноте не было видно ничего, кроме углей в очаге — красных, медленных. Он подождал. Может, показалось. Может, ветка. Может, собака.

Стук повторился.

Он встал. Нащупал ногами башмаки — холодные, кожаные, с трещинами на подошве. Накинул рубаху. Подошёл к двери. Открыл.

За дверью стоял Хильдебранд — сосед, кожевник, человек с вечно красными руками и вечно недовольным лицом. Сейчас его лицо было не недовольным. Оно было белым.

— Собрание, — сказал Хильдебранд. — Всеобщее. В центре. Что-то случилось.

— Что случилось?

— Не знаю. Но дым.

Æron вышел на крыльцо. И увидел.

Дым шёл со стороны дворца. Не тонкая струйка, не дым от костра — столб. Огромный, чёрный, тяжёлый. Он поднимался к небу и расползался в стороны, как будто хотел закрыть всё. Звёзды гасли одна за другой. Луны не было — только дым и тьма.

Æron смотрел на него и чувствовал, как холодеет спина. Не от утреннего холода — от чего-то другого. От того, что он видел этот дым раньше. Не здесь. В детстве. Когда викинги сожгли монастырь за рекой. Тогда дым был такой же — чёрный, тяжёлый, и он шёл три дня.

— Боже мой, — сказал Æron. — Что за жизнь!

— Пойдём, — сказал Хильдебранд. — Надо идти. Все идут.

— Кто «все»?

— Все. Весь город. Собрание.

Æron не хотел идти. Он хотел вернуться в дом, закрыть дверь, лечь на солому и не думать. Но он знал: если он не пойдёт, то всё равно узнает. Через час, через два. Кто-нибудь постучит. Кто-нибудь скажет. И будет хуже — потому что тогда он будет один, а не в толпе.

— Дай оденусь, — сказал он.

* * *

II

Они шли по улице, и улица была полна людей. Не толпа — поток. Люди выходили из домов, из переулков, из-за углов, и все шли в одну сторону — к центру, к рынку, к площади

перед дворцом. Никто не бежал. Никто не кричал. Все шли молча, как будто знали, что бежать некуда.

— Говорят, короля убили, — сказал Хильдебранд.

Æron споткнулся о камень. Выровнялся.

— Что?

— Короля. Альфреда. И семью его. Священную семью.

— Кто говорит?

— Все говорят. Я не знаю, кто первый сказал. Но все говорят.

— Это слухи, — сказал Æron. — Слухи всегда врут.

— Может, и врут. Но дым — не слух.

Они прошли ещё немного. Æron смотрел на дым. Он не уменьшался. Он, казалось, становился больше. Или это было от того, что они подходили ближе.

— Говорят, будет тиран, — сказал Хильдебранд. — Новый. Который убьёт всех.

— Всех?

— Всех.

— Зачем?

— Откуда я знаю? Тираны не спрашивают.

Æron остановился. Живот скрутило. Не от голода — он не ел с вечера, но это было не то. Это было от страха. Он знал это чувство. Оно приходило в детстве, когда викинги подходили к деревне. Оно приходило, когда умирала жена. Оно приходило, когда он не мог заплатить налог и ждал, что придут и заберут инструмент — единственное, что у него было.

Живот болел всё сильнее, чем ближе они подходили к центру. Æron шёл и думал: «Только бы не стошнило. Только бы не стошнило при всех».

* * *

III

Площадь была полна. Не толпа — море. Люди стояли плечом к плечу, от рынка до стены дворца, и все смотрели в одну сторону — на помост, который вчера ещё был пустым. На помосте стоял человек.

Æron не знал его. Молодой — лет двадцать два, может, двадцать пять. Широкие плечи, обожжённые руки — кузнец, как и он сам, только моложе. Лицо простое. Не злое. Не доброе. Просто лицо человека, который не спал ночь.

Человек поднял руку. Толпа замолчала. Не сразу — постепенно, как будто каждый замолкал сам, а не потому, что его заставляли. Æron замолчал тоже.

Человек заговорил. По-английски — не по-латыни, не по-франкски. По-английски, чтобы поняли все.

«Hwæt! Eald anweald ēow þrycte. Hit þǣm tēonum fulne anweald ofer ēow sealde. Gē for lȳtlum worhton, þæt sē tēona beforan cyninge ēow gerīmde. Sē cyning wæs eallswā yfel. AC wē — wē ne þæt ān Wesseaxe, wē ealne middangeard onwendan! Ælc bearn and ælc mann lārceaft hæbbe! Ælc mann langne līf hæbbe! Ælc swā on neorxnawange libbe! Nū is eower nīwe hlāford Ælfredo!»

— «Слушайте! Старая власть угнетала вас. Она давала так называемым тэнам полную власть над вами. Вы работали за бесценок, чтобы тот тэн отчитался перед королём о вас. Король был так же плох. НО мы — мы не только Уэссекс, мы весь мир изменим! Каждый ребёнок и каждый человек да получит образование! Каждый человек да получит долгую жизнь! Каждый да живёт как в раю! Теперь ваш новый правитель — Ælfredo!»

Он замолчал, но толпа не взорвалась. Люди стояли и смотрели на него, как будто ждали продолжения. И он продолжил. Он говорил не как король, не как священник — он говорил как человек, который сам стоял в этой толпе, который сам пил эту грязную воду и ел этот чёрствый хлеб.

— Вы думаете, мы пришли, чтобы забрать у вас последнее? — крикнул он, и его голос разнёсся над площадью. — Нет! Мы пришли, чтобы отдать! Те тэны, что грабили вас, — они больше не будут грабить. Их земля — ваша земля. Их зерно — ваше зерно. Те налоги, которые вы платили, — их больше нет. Мы отменяем их. Все. Сегодня.

По толпе прошёл гул. Не крик — шёпот. Люди переглядывались. Кто-то недоверчиво качал головой. Кто-то крестился.

— Вы не умеете читать? — продолжал человек. — Скоро будете. Мы построим школы. В каждой деревне. Каждый ребёнок, которому исполнится девять лет, пойдёт туда. Бесплатно. Не будет больше неграмотных. Не будет больше слепых. Вы сможете читать законы сами. Вы сможете проверять, не обманывают ли вас. Вы сможете писать свои имена.

Он сделал паузу. Посмотрел на толпу. И Æron увидел, как он смотрит — не сверху вниз, не как на скот, а как на равных. Как будто он искал в толпе знакомые лица.

— Вы пьёте воду из лужи, — сказал он тише, но его всё равно было слышно. — Вы пьёте её, потому что не знаете, что можно иначе. Мы научим вас кипятить воду. Мы дадим вам колодцы с чистой водой. Не будет больше болезней. Не будут больше умирать дети. Я сам видел, как умирают дети. Я видел, как они сохнут за неделю, и никто не может им помочь. Я видел, как матери молятся у их постелей, не зная, что нужно просто вскипятить воду. Так больше не будет.

Толпа молчала. Стояла тишина — такая тяжёлая, что Æron слышал, как где-то вдалеке лает собака. Он слышал, как дышит человек рядом с ним. Как скрипит кожа на его башмаках.

— Вы боитесь, что мы обманем, — сказал человек. — Я бы тоже боялся. Вы не знаете нас. Вы не знаете меня. Но вы можете проверить. Мы не будем ничего скрывать. Все законы — на бумаге. Всё, что мы обещаем, — будет записано. И каждый из вас сможет прочитать это. Каждый из вас сможет проверить. И если мы обманем — вы будете знать.

Он поднял руку. В руке был лист пергамента — небольшой, свёрнутый в трубку.

— Это первый указ, — сказал он. — Я зачитаю его вам. Сейчас. Здесь. Чтобы вы слышали. Чтобы вы запомнили. Чтобы никто потом не сказал, что вы не знали.

Он развернул пергамент. И начал читать. Медленно, по слогам, чтобы поняли даже те, кто не умел читать.

«Ælfredo cyning bebītt: fram þissum dæge ne sie nān hlāford ofer ceorle būtan cyninges leaf. Sē þe hit forbricð, sie his land and his feoh genumen, and hit sie útlagu.»

— «Король Ælfredo повелевает: с этого дня да не будет ни одного господина над крестьянином без позволения короля. Кто это нарушит, у того да будут взяты земля и имущество, и да будет он объявлен вне закона».

Он опустил пергамент. Посмотрел на толпу.

— Это первый указ. Но не последний. Мы будем менять всё. Не потому, что мы хотим власти. А потому, что вы заслуживаете лучшего. Вы работаете. Вы кормите нас. Вы строите. Вы умираете. И всё это — за кусок хлеба и кружку грязной воды. Так больше не будет.

Он замолчал.

И тогда толпа взорвалась.

Крики, свист, топот — не радость, не горе. Что-то среднее. Что-то, что рождается, когда люди не знают, что чувствовать, и поэтому кричат.

Æron кричал тоже. Он не знал зачем. Он просто открыл рот и закричал, потому что все кричали, и потому что если не кричать — то надо думать, а думать было страшно.

Но внутри — внутри он не кричал. Внутри он стоял и смотрел на человека на помосте и думал: «Что значит "рай"? Что значит "быть грамотным"? Я не умею читать. Я никогда не умел. Мой отец не умел. Мой дед не умел. Что это значит — "каждый получит образование"? Кто будет учить? Где? Когда? И главное — что за новая власть, если она пришла военным путём? Если она пришла с кровью — значит, она опасна. Значит, она может прийти и за мной».

Он перестал кричать. Опустил руки. Посмотрел на дым — тот всё ещё шёл, всё ещё чёрный, всё ещё тяжёлый.

* * *

IV

И тут случилось то, чего Æron не ожидал.

Человек на помосте поднял руку снова. Толпа снова начала стихать. Не сразу — волнами, как будто каждый должен был сначала выкричаться.

— И ещё одно, — сказал человек. — Чтобы вы знали, что мы не обманщики. Чтобы вы знали, что мы не просто говорим. Сегодня — ярмарка. Прямо здесь. Прямо сейчас.

Люди замерли. Кто-то засмеялся — нервно, не веря. Кто-то покачал головой.

— Ярмарка? — переспросил старик рядом с Æronom. — Какая ярмарка? Сейчас? Посреди ночи?

Но человек на помосте уже махнул рукой. И из-за стены дворца начали выходить люди. С корзинами, с мешками, с телегами. Они несли хлеб — тёплый, мягкий, только что испечённый. Они несли мясо — не солёное, а свежее, с кровью. Они несли вино, и мёд, и сыр, и яблоки. Они несли ткани, и инструменты, и горшки. Они выносили всё, что было в кладовых дворца, и всё, что хранилось в подвалах тэнов.

— Всё, что было у них, — сказал человек на помосте. — Теперь ваше. Берите. Ешьте. Пейте. Празднуйте. Это не подачка. Это то, что у вас украли. Мы возвращаем вам долг.

Толпа не двигалась. Люди стояли и смотрели на эти корзины, на эти телеги, на это мясо и этот хлеб — и не верили. Это было слишком. Слишком быстро. Слишком неожиданно.

Потом кто-то — женщина с ребёнком на руках — вышла вперёд. Она подошла к телеге с хлебом. Остановилась. Посмотрела на человека, который держал корзину. Он кивнул. Она взяла буханку. Обеими руками. Прижала к груди. И заплакала.

И тогда всё началось.

Люди бросились к телегам. Не толкаясь, не ругаясь — просто бросились, как будто боялись, что это исчезнет. Они брали хлеб, мясо, яблоки. Они набивали карманы, пазухи, руки. Они ели прямо на месте — жадно, торопливо, как будто не ели никогда. Слёзы, смех, крики радости — всё смешалось в один гул.

Æron стоял и смотрел. Он не двигался. Он не мог двинуться. Он смотрел, как люди — те самые люди, которые ещё вчера стояли у колодца с мутной водой, которые умирали от голода, которые хоронили детей, — сейчас едят свежий хлеб и смеются. Он смотрел, как женщина с ребёнком на руках разламывает буханку и даёт половину сыну. Он смотрел, как старик, который просил подаяние у стены, ест мясо. Он смотрел, как Хильдебранд — Хильдебранд! — набивает карманы яблоками и улыбается.

И тогда Æron почувствовал, как что-то в груди сжимается. Не страх. Не радость. Что-то другое. Что-то, чего он не чувствовал уже много лет.

Он подошёл к телеге. Медленно, осторожно, как будто она могла исчезнуть. Взял яблоко. Красное, большое, с блестящей кожей. Он не видел таких яблок с детства. Он держал его в руках и смотрел на него, как на что-то невозможное.

Он откусил. Сок брызнул на подбородок. Он закрыл глаза. И заплакал. Тихо, беззвучно, чтобы никто не видел. Он плакал не от яблока. Он плакал от того, что не помнил, когда последний раз ел что-то просто так. Не за работу. Не за деньги. Просто потому, что захотел.

Он доел яблоко. Вытер слёзы рукавом. Огляделся.

Площадь уже изменилась. Люди не стояли на месте — они двигались, ходили между телегами, разговаривали, смеялись. Кто-то уже начал играть на дудке. Кто-то — танцевать. Дым над дворцом всё ещё шёл, но теперь он казался не таким страшным. Он был фоном. А на фоне — люди ели, пили, танцевали.

Æron никогда не видел такого. Он не знал, как это называется. Он не знал, что через год такие ярмарки будут по всему Уэссексу. Что через два года их будут ждать, как праздника. Что через десять лет дети, выросшие в этом городе, будут считать это нормой.

Он знал только одно: он стоит на площади, у него в руках яблоко, и люди вокруг него смеются. И это — несмотря на дым, несмотря на кровь, несмотря на страх — было хорошо.

Он не мог этого объяснить. Он не мог этого понять. Но он чувствовал. И этого было достаточно.

— Пойдём домой, — сказал он Хильдебранду.

— Уже? Ярмарка только началась.

— Я всё услышал. И всё увидел.

Он пошёл домой. Один. Через толпу, через улицы, через переулки.

* * *

V

Дома он не смог уснуть. Лежал на соломе, смотрел в потолок и слушал, как в очаге потрескивают угли. Сердце билось неровно — не как молот, а как что-то живое, что мечется в клетке.

Он встал. Достал из шкафа кувшин с элем — тот самый, что берёг на ярмарку. Открыл. Налил в кружку. Выпил залпом.

Эль был горький, тёплый, с запахом дрожжей. Он не помог. Живот всё ещё болел. Голова всё ещё кружилась. Он налил ещё. Выпил.

«Что за жизнь», — подумал он. — «Что за жизнь, когда просыпаешься в 3:41, идёшь на площадь, слушаешь человека, которого не знаешь, ешь яблоко, которое не покупал, и возвращаешься домой пить эль, потому что не можешь уснуть».

Он допил кувшин. Поставил его на стол. Лёг на солому. Закрыл глаза.

Дым за окном всё ещё шёл. Он не видел его — но чувствовал. Как будто дым был не снаружи, а внутри. Как будто он пропитал одежду, волосы, кожу — и не смывался.

Æron лежал и думал: «Завтра будет обычный день. Завтра я встану в 5:30, пойду в кузницу, возьму молот, и всё будет как раньше».

Он знал, что это неправда. Но он хотел в это верить.

* * *

VI

Ælfredo стоял у стены, смотрел на площадь и слушал, как стихает толпа. Сиг говорил хорошо — лучше, чем он ожидал. Не потому, что был красноречив, а потому, что говорил правду. Не свою правду — их правду. Ту, которую Ælfredo записал в сундуке, под деревом, в лесу.

— Мы сказали всё, — сказал Ælfredo. — Думаешь, нам поверят?

Сиг посмотрел на него. У Сига была перевязана рука — та самая, что порезалась о копьё. Повязка была чистая, из кипячёной ткани. Ælfredo сам её накладывал.

— Нет, — сказал Сиг. — Пока мы не докажем это росчерком пера — нас считают бандитами.

— По сути — так и есть, — сказал Ælfredo.

Сиг не ответил. Он смотрел на толпу, которая расходилась — медленно, по одному, по два, как вода из треснувшего кувшина.

— ДА! — крикнул кто-то сзади. Ухтред. — МЫ БАНДИТЫ! НАМ НУЖНО ДОКАЗАТЬ ОБРАТНОЕ!

Ælfredo обернулся. Ухтред стоял с топором на плече — не потому, что хотел кого-то убить, а потому, что не знал, куда деть руки. Рядом стояли другие — Эльфвин, Годрик. Все молодые. Все с кровью на одежде — не своей. Все смотрели на Ælfredo.

— Ладно, — сказал Ælfredo. — Сейчас вернусь. Сначала надо сказать маме и папе, что случилось.

— Зачем? — спросил Ухтред.

Ælfredo не ответил. Он смотрел на дым — тот самый, что поднимался над дворцом и расползался над городом. Он думал: «Они ещё не знают. Они спят. Они думают, что всё как всегда. А я должен прийти и сказать им, что всё изменилось».

— Родители — это святое, — сказал Сиг. — Даже если они демоны, нужно их уважать.

Ælfredo посмотрел на него. Сиг не смотрел на него — он смотрел на свою перевязанную руку. Он говорил не про Ælfredo. Он говорил про себя. Про свою мать, которую убил сборщик налогов. Про своего отца, который умер от кашля. Он говорил: «Даже если они демоны — уважай».

— Я вернусь через час, — сказал Ælfredo. — Не начинайте без меня.

Он ушёл. Не оглянулся.

* * *

VII

Дом родителей был на другом конце Винчестера — за рынком, за церковью, за старой стеной, которая осталась ещё с римских времён. Ælfredo шёл пешком — не потому, что не мог взять лошадь, а потому, что хотел идти. Хотел чувствовать ноги. Хотел чувствовать землю. Хотел чувствовать что-то, кроме крови на рубахе — она уже высохла, стала бурой, но он всё равно её чувствовал.

Дверь была открыта. В доме пахло кипячёной водой — как всегда. Папа сидел за столом, читал какую-то бумагу. Мама стояла у очага, что-то помешивала в котле.

Они выглядели счастливыми. Выспавшимися. Обычными.

Папа поднял голову.

— Ælfredo? — сказал он. — Ты рано. Мы не ждали тебя до...

Он замолчал. Посмотрел на рубаху. На руки. На лицо.

— Что случилось?

Ælfredo стоял в дверях. Он не знал, с чего начать. Он не знал, как сказать. Он просто сказал:

— Король мёртв.

Тишина. Мама перестала мешать. Папа положил бумагу на стол.

— Что? — сказал Папа.

— Король мёртв, — повторил Ælfredo. — Я убил его. Сегодня ночью. Я и мои люди. Мы сожгли дворец. Мы убили стражу. Мы убили Хильду.

Тишина. Долгая. Слишком долгая.

Потом Папа засмеялся. Не громко — тихо, как будто услышал шутку, которую не понял.

— Хорошая шутка, — сказал он. — Ты всегда был странным. Но это...

— Это не шутка, — сказал Ælfredo.

Он поднял руку. На рукаве была кровь — бурая, сухая. Он не мыл её. Он не мог мыть — не было времени. Или не было сил.

Папа смотрел на кровь. Мама смотрела на кровь. Оба молчали.

Потом Мама сказала:

— Докажи.

— Что?

— Докажи, что это правда. Что ты не...

Она не договорила. Она не знала, что сказать. Она не знала, что хуже — если он врёт, или если он говорит правду.

Ælfredo открыл дверь. За дверью, над крышами, над стенами, над всем Винчестером, стоял дым. Тот самый. Чёрный, тяжёлый. Он наконец дошёл и сюда — до владений родителей, до их дома, до их окна.

Папа вышел на крыльцо. Посмотрел на дым. Мама вышла за ним. Они стояли и смотрели, как дым поднимается к небу.

Папа повернулся. Ударил Ælfredo по лицу. Сильно — так, что Ælfredo пошатнулся, но не упал.

Ælfredo не ответил. Не поднял руку. Не сказал ничего. Он просто стоял и смотрел на отца.

Папа смотрел на него. Потом отвернулся. Пошёл в дом. Мама пошла за ним. Они ушли вглубь квартиры — в спальню, за дверь, которую закрыли.

Ælfredo стоял на крыльце. Смотрел на дым. Ждал.

Прошло десять минут. Пятнадцать. Двадцать. За дверью было тихо. Потом — шёпот. Потом — плач. Потом — снова тишина.

Ælfredo понял, что его не позовут. Он вернулся к лошади. Сел в седло. Поехал обратно.

* * *

VIII

Через два часа Cenric сидел на кровати, смотрел в стену и говорил:

— Он всегда был другим.

Elfgyth стояла у окна. Смотрела на дым. Он всё ещё шёл.

— Да, — сказала она.

— Мы знали. С самого начала. Он спрашивал «почему» — всегда «почему». Мы думали, это пройдёт. Мы думали, он повзрослеет.

— Он повзрослел.

— Он стал... — Cenric замолчал. Не нашёл слова. Потом сказал: — Он стал тем, кем мы не смогли стать.

Elfgyth повернулась. Посмотрела на мужа.

— Ты его боишься.

— Да.

— Я тоже.

Они молчали. Дым за окном всё ещё шёл.

— Мы могли бы подавить это, — сказал Cenric. — Если бы были строже. Если бы не учили его читать. Если бы не позволяли ему писать. Если бы мы позволили играть с другими детьми, а не сидеть над бумагами.

— Ты думаешь, это помогло бы?

Cenric не ответил. Он знал, что не помогло бы. Он знал, что сын был другим с рождения — с того самого дня, когда Haggona положила его на грудь Elfgyth и он не заплакал, а просто спал. Он знал, что никакая паранойя не остановила бы этого ребёнка. Но ему хотелось думать, что он мог что-то сделать. Что он не просто вырастил человека, который отобрал у него всё.

— Он отобрал у нас всё, — сказала Elfgyth. Как будто прочитала его мысли.

— Да.

— И мы всё равно его любим.

— Да.

Они замолчали. За окном дым всё ещё шёл — чёрный, тяжёлый, бесконечный.

* * *

IX

Тем временем в городе было неспокойно. Не на площади — там уже расходились. В домах тэнов, в усадьбах, за стенами, где жили те, кто управлял землёй, — там начиналась паника.

Они слышали речь. Они слышали имя. Они знали, кто такой Ælfredo — сын Cenric'a, мальчик, который читал законы и считал деревья. Они видели его на советах, на пирах, на приёмах у короля. Они думали, что он будет тэном, как отец. Они думали, что он будет управлять землёй, как отец. Они думали, что он будет частью системы.

Он не стал частью системы. Он сломал её.

И теперь они сидели в своих домах, смотрели на дым и думали: «Что будет с нами? Что будет с нашей землёй? Что будет с нашими детьми?» Они не знали ответа. Они знали только одно: человек, который сжёг дворец, не остановится на дворце. Он придёт и за ними.

Они начали собираться. Тайно — пока тайно. По два, по три, по пять. В подвалах, в церквях, в лесах. Они говорили шёпотом, потому что не знали, кто слушает. Они говорили о том, что надо что-то делать. Они говорили о том, что надо бежать. Они говорили о том, что надо бороться.

Они не знали, что Ælfredo уже знает о них. Он знал, потому что Сиг знал. Сиг знал всё — потому что Сиг был кузнецом, а кузнецы слышат всё. Кузнецы чинят ножи для тэнов, подковывают лошадей тэнов, точат мечи тэнов. И тэны говорят при них, как будто их нет. Как будто кузнец — это не человек, а инструмент.

Сиг слушал. Сиг запоминал. Сиг рассказывал Ælfredo.

И Ælfredo записывал. В сундук, под деревом, в лесу. Потому что бумага переживает людей. А люди — нет.

Часть 2: скальпель

I

Указ лежал на столе. Пергамент — плотный, дорогой, с ровными краями. Чернила — чёрные, свежие, ещё блестели. Ælfredo смотрел на него и думал: «Это не указ. Это приговор. Но приговор — для тех, кто уже приговорён. А для остальных — это дверь. Дверь, которую я открываю. Или закрываю. Зависит от того, с какой стороны смотреть».

Он взял перо. Обмакнул в чернильницу. Начал писать.

«Lēofe menn — secgaþ nū sōþe word! Ne synd nā lengre hēahe ne hēane; syndon lārde and unlārde. Ne synd nā lengre frēoge ne wēdle; syndon lārde and unlārde. Ne synd nā lengre wīf ne weras; syndon lārde and unlārde! And sē þe þisne hālgan rēht āwyrð, hit forgieldþ mid his dēaþe.»

— «Люди честные — говорите же слова честные! Не существует больше высоких и низких; существуют грамотные и неграмотные. Не существует больше привилегированных и бедных; существуют грамотные и неграмотные. Не существует женщины и мужчины; существуют грамотные и неграмотные! А тот, кто посягнёт на это священное право, — заплатит своей смертью».

Он поставил подпись. Не размашистую, не королевскую — простую, как у кузнеца, который ставит клеймо на подкову. «Ælfredo». Три слога. Три удара.

Потом он отложил перо. Посмотрел на Сига.

— Отнеси это на площадь. Прибей к двери церкви. Пусть читают.

Сиг взял указ. Не спросил ничего. Он не спрашивал с той ночи — с той самой, когда они стояли в дыму и смотрели, как горит дворец. Он просто делал.

* * *

II

Но просто прибить пергамент к двери было недостаточно. Ælfredo знал это. Он знал, что девять из десяти крестьян не умеют читать. Они увидят лист с чёрными закорючками и пройдут мимо. Или испугаются. Или решат, что это очередная подать.

Поэтому Сиг взял с собой Ухтреда и еще двоих. Они вышли на площадь перед церковью Святой Марии, когда там было больше всего народу — в полдень, когда торговки раскладывали зелень, а кузнецы выносили готовый товар.

Сиг не стал ждать, пока люди соберутся сами. Он залез на пустую телегу, стоявшую у стены, и поднял руку. Ухтред ударил в старый железный щит — три раза, звонко, чтобы привлечь внимание.

Люди обернулись. Они увидели молодого кузнеца с перевязанной рукой и листом пергамента.

— Слушайте! — крикнул Сиг. Его голос разнесся над площадью. — Слушайте волю короля Ælfredo!

Толпа замерла. Слово «король» действовало безотказно — как удар хлыста.

Сиг не стал читать по слогам. Он знал, что люди не поймут древнеанглийскую вязь. Он перевел указ на язык улицы. Простой, грубый, понятный каждому.

— Король говорит: больше нет господ и холопов! — крикнул Сиг. — Больше нет тэнов, которые будут вас бить! Теперь есть только те, кто умеет читать закон, и те, кто не умеет. Тот, кто умеет читать, — будет управлять. Тот, кто не умеет, — будет работать. Но! Каждый из вас может научиться читать! Каждый может стать грамотным! И если какой-то тэн попробует помешать вам учиться — он умрет!

Тишина стояла такая, что было слышно, как ветер шелестит соломой на крыше.

Потом женщина в толпе — та самая, что всегда стояла у колодца — сказала громко, не веря:

— А если я не хочу учиться?

— Тогда ты будешь работать на того, кто учится, — ответил Сиг. — Но ты не будешь принадлежать ему. Ты будешь свободна. Но неграмотна.

— А как же тэны? — крикнул кто-то из-за спин. — Они же нас убьют за это!

— Тэны мертвы, — сказал Сиг. — Или скоро умрут. Те, кто согласится сесть за парту, будут жить. Те, кто поднимет руку на новый закон, будут висеть на этих воротах. Идите и расскажите всем. Завтра с утра на площади будет первый урок. Приводите детей. Приходите сами.

Он спрыгнул с телеги. Толпа не расходилась. Люди стояли и смотрели на лист пергамента, прибитый к двери. Они смотрели на него, как на дикого зверя. Они не понимали написанного, но они понимали то, что сказал Сиг. А это было страшнее любого пергамента.

* * *

III

Сундук стоял в углу — тот самый, из леса, под деревом. Ælfredo открыл его. Достал листки — те самые, что писал в детстве, в юности, в ярости. Он знал их наизусть. Но сейчас он читал их не как воспоминания. Он читал их как **список целей**.

Вот листок, где он записал: «Тэн Эльфрик из Уэссекса. Три владения. Двенадцать коней. Сорок пенни в месяц с ренты. Живёт за рекой, в усадьбе с дубовой дверью». Он написал это три года назад — не потому, что планировал убить, а потому, что записывал всё. Привычка. Привычка считать. Привычка запоминать.

Вот листок, где он записал: «Тэн Вульфхер. Пять владений. Двадцать коней. Семьдесят пенни в месяц с ренты. Живёт у старой стены, в доме с каменным фундаментом». Вульфхер был организатором. Он собирал тэнов в подвалах, говорил шёпотом, обещал золото. Он думал, что его не слышат. Но его слышал Сиг. Сиг слышал всё.

Ælfredo закрыл сундук. Встал. Посмотрел на своих людей — двадцать четыре человека, которые стояли у стены, ждали. Ухтред с топором на плече. Годрик, который до переворота был крестьянином, а теперь держал копье. Все они были в крови — не своей. Все они не спали вторые сутки. Их лица были серыми от усталости, но глаза горели.

— Вульфхер, — сказал он. — Я сам.

* * *

IV

Дом Вульфхера стоял у старой стены — той самой, что осталась ещё с римских времён. Каменный фундамент, дубовая дверь, окна с крепкими ставнями. Ælfredo подошёл к двери и постучал. Не громко. Три раза.

За дверью — тишина. Потом шаги. Потом голос:

— Кто?

— Ælfredo.

Тишина. Долгая. Потом дверь открылась.

Вульфхер стоял в дверях — высокий, седой, с руками, которые привыкли держать меч. Ему было под пятьдесят. Он смотрел на Ælfredo и не боялся. Или боялся, но не показывал.

— Ты пришёл, — сказал Вульфхер.

— Пришёл.

— Убить меня?

— Поговорить.

Вульфхер усмехнулся. Не зло — устало.

— Говори.

Ælfredo вошёл в дом. Не оглядываясь. Не проверяя, нет ли кого за дверью. Он знал: если Вульфхер хотел убить — убил бы сразу. Но Вульфхер хотел говорить. Все хотят говорить, когда боятся.

В доме пахло воском и старым деревом. На столе — бумаги. Списки. Имена. Вульфхер собирал людей — не для бунта, для **разговора**. Он думал, что можно договориться. Он думал, что можно вернуть старое.

— Ты думаешь, я злодей, — сказал Вульфхер.

— Нет, — сказал Ælfredo. — Я думаю, ты человек, который не понял.

— Чего не понял?

— Что мир изменился. Что старые правила больше не работают. Что тэны больше не управляют землёй. Что земля — не твоя. Что люди — не твои.

Вульфхер смотрел на него. Долго.

— Я управлял этой землёй тридцать лет, — сказал он. — Я знаю каждого крестьянина по имени. Я знаю, кто сколько может заплатить. Я знаю, кто болен, кто стар, кто может работать. Я не был жестоким. Я не брал лишнего. Я судил по справедливости.

— Я знаю, — сказал Ælfredo. — Ты был хорошим тэном. Ты не бил крестьян. Ты не отбирал последнее. Ты не насиловал женщин. Ты был **добрым**.

— Тогда почему?

— Потому что ты владел ими, — сказал Ælfredo. — Ты владел людьми. Как имуществом. Как скотом. Как землёй. Ты не видел в них людей — ты видел в них **крестьян**. Ты не спрашивал, чего они хотят. Ты решал за них. Ты был добрым — но ты был **господином**. А господин — это тот, кто владеет. Даже если он добрый. Даже если он справедливый. Даже если он не бьёт.

Вульфхер молчал. Потом сказал:

— Ты убил короля. Ты сжёг дворец. Ты убил его дочь. Ты думаешь, ты лучше?

— Нет, — сказал Ælfredo. — Я хуже. Я убил. Я сжёг. Я буду убивать и жечь дальше. Но я делаю это не для того, чтобы **владеть**. Я делаю это для того, чтобы **никто не владел**. Ни тэн. Ни король. Ни я.

— Ты — король.

— Я — не король. Я — тот, кто ломает систему. Когда система сломается — меня не будет. Будут только грамоты. И люди. И школы.

Вульфхер потянулся к мечу — тот висел на стене, старый, отцовский. Ælfredo не остановил его. Он ждал.

Вульфхер взял меч. Вытащил из ножен. Посмотрел на лезвие. Потом посмотрел на Ælfredo.

— Я не буду садиться за парту, — сказал он.

— Я знаю.

— Я не буду учиться читать.

— Я знаю.

— Я не буду **ничем**, кроме тэна. Потому что я — тэн. Это не должность. Это я.

Ælfredo кивнул.

— Тогда ты умрёшь.

Вульфхер поднял меч. Ælfredo не двинулся. Он ждал, пока Вульфхер замахнётся. Потом шагнул вперёд — быстро, как учил отец, — и всадил нож под рёбра. Вульфхер упал. Не сразу — сначала на колени, потом на бок. Меч выпал из руки и звякнул о каменный пол.

Ælfredo стоял над ним. Смотрел, как кровь растекается по полу — тёмная, густая, почти чёрная. Он думал: «Он был добрым. Он не бил крестьян. Он судил по справедливости. И всё равно — он владел людьми. И всё равно — он умер. Потому что система не меняется по-хорошему. Система меняется только тогда, когда её ломают».

Он вышел из дома. Сиг ждал у двери.

— Готово? — спросил Сиг.

— Готово, — сказал Ælfredo. — Теперь остальные.

* * *

V

Они ходили по домам два дня. Двадцать четыре человека — по два, по три, по четыре. Сиг был с ними. Сиг не получал удовольствия. Он просто делал.

В первом доме — тэн Эльфрик. Он вышел на крыльцо, увидел их и сказал:

— Я не буду учиться.

Сиг сказал:

— Тогда умри.

Эльфрик умер быстро. Не потому, что Сиг был жестоким — потому, что Сиг не умел медленно. Он ударил один раз. В сердце. Эльфрик упал. Сиг посмотрел на него и сказал:

— Он мог сесть за парту. Он мог выучить буквы. Он мог стать кем-то другим. Он выбрал смерть. Это его выбор.

Во втором доме — тэн Годвин. Он был старый, больной, не мог ходить. Он лежал на кровати и смотрел на них.

— Я не могу учиться, — сказал он. — Я умираю.

Сиг сказал:

— Тогда умри.

Он ударил один раз. Годвин умер. Сиг закрыл ему глаза — не из милосердия, из привычки. Он видел, как закрывают глаза мёртвым. Он делал это для матери, когда она умерла. Он делал это для отца. Он делал это для всех, кого хоронил.

В третьем доме — тэн Беортвульф. Он был молод, силён, с мечом. Он не хотел умирать. Он дрался. Он убил двоих — крестьянина по имени Ухтред и тэна по имени Эльфвин. Он дрался отчаянно, как загнанный в угол зверь. Он ранил Годрика в плечо. Потом Сиг ударил его в спину. Беортвульф упал. Сиг стоял над ним и смотрел.

— Он мог сесть за парту, — сказал Сиг. — Он мог выучить буквы. Он выбрал меч. Меч — это смерть.

* * *

VI

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.